Адольфо Биой Касарес

Изобретение Мореля

Хорхе Луису Борхесу

Предисловие Хорхе Луиса Борхеса

Кажется, в 1882 году Стивенсон заметил, что английские читатели с пренебрежением относятся к приключенческим произведениям и считают, что было бы куда лучше писать романы без сюжета или с сюжетом донельзя ослабленным, атрофированным. В «Дегуманизации искусства» (1925) Хосе Ортега-и-Гассет занят обоснованием отмеченного Стивенсоном пренебрежения и на странице 96 указывает, что «сегодня чрезвычайно трудно придумать такую приключенческую историю, какая была бы способна затронуть лучшие струны нашей души», а на странице 97 добавляет, что подобное «практически невозможно». На других страницах, почти на всех страницах, он высказывается в пользу «психологического» романа и объявляет наслаждение от приключенческих книг несуществующим либо детским. Таким, несомненно, было общее мнение в 1882 и в 1925 годах, таким оно остается и в 1940-м. Но некоторые писатели (и среди них я с удовольствием называю Адольфо Бьой Касареса) совершенно справедливо не согласны с подобным утверждением. Коротко изложу здесь причины такого несогласия.

Прежде всего (парадоксальность своего суждения я не намерен ни подчеркивать, ни преуменьшать) приключенческому роману свойственно неукоснительное соблюдение законов жанра. Роман характерный, «психологический» склонен стать бесформенным. Русские писатели и их приверженцы показали – до тошнотворности, – что все позволено: самоубийства от счастья, убийства от благости, появились персонажи, любящие друг друга до того, что готовы навсегда разлучиться, доносчики из гордыни либо смирения. Сия полная свобода грозит закончиться полным крахом. С другой стороны, «психологический» роман желает быть также и романом «реалистическим»: он хотел бы, чтобы мы забыли его искусственную словесную природу, и со всей тщетной определенностью (или со всей немощной неточностью) пытается создать новое правдоподобие. У Марселя Пруста есть страницы, есть главы, неприемлемые для изобретателя вымыслов: мы, сами не сознавая этого, смиряемся с ними как с ежедневной банальностью и ленью. А у приключенческого романа нет ни малейшего намерения стать описанием реальности: он искусственен и ни в коей мере не страдает от этого. Опасение повторить повествовательное своеобразие «Золотого осла», семи путешествий Синдбада или «Дон Кихота» заставляет его неукоснительно следовать законам жанра.

Я изложил причину интеллектуального порядка; есть и другие, эмпирического характера. Все мы сетуем, что наш век не способен соткать нить увлекательной интриги; никто не осмелился доказать, что если у нашего века и есть какие-либо преимущества по сравнению с предшествующими, то именно в создании интриг. Стивенсон – более страстный, более разнообразный, более светозарный и, пожалуй, более достойный нашего дружеского участия, чем Честертон, но сюжеты, которые он избирает, – из наихудших. Де Куинси, в ночи нескончаемых кошмаров, погружался в сердце лабиринтов, но unutterable and self-repeating infinities[1] не сумел отчеканить в золоте притч, способных сравниться с притчами Кафки. Ортега-и-Гассет справедливо замечает, что «психология» Бальзака нас удовлетворить не

1 Невыразимые и самоповторяющиеся бесконечности.

может, но то же самое можно сказать и о его сюжетах. Шекспира, Сервантеса воодушевляла странная идея: девушка, не скрывая своей красоты, добивается того, что все принимают ее за мужчину; нам сейчас такое развитие действия не представляется возможным. Я далек от суеверного преклонения перед современностью, от какой-либо иллюзии относительно того, что вчера внутренне отличается от сегодня или сегодня будет отличаться от завтра, но полагаю, что ни в какую другую эпоху не появлялись произведения с такими великолепными сюжетами, как романы «Поворот винта»[2], «Процесс»[3], «Путешественник по земле»[4], как этот, что создан в Буэнос-Айресе Адольфо Бьой Касаресом.

Полицейский роман – новый жанр, типичный для века, каковой не способен придумывать сюжеты, – повествует о загадочных явлениях, которые затем оказываются логически оправданными и объясненными; Адольфо Бьой Касарес на страницах своего романа с легкостью разрешает, может быть, самую трудную проблему литературы. Он развертывает перед нами истинную Одиссею чудес, которые могут показаться нам галлюцинацией либо символом и которые автор полностью объясняет посредством фантастического, но не сверхъестественного постулата. Опасение преждевременно либо частично раскрыть фабулу романа не позволяет мне касаться сюжета или продуманной изящности его исполнения. Достаточно сказать, что Бьой литературно возрождает идею, которую Святой Августин и Ориген опровергли, которую Луи Огюст Бланки логически обосновал и о которой Данте Габриэль Россетти сказал памятной мелодией стиха:

I have been here before,
But when or how
I cannot tell:
I know the grass beyond the door,
The sweet keen smell,
The sighing sound, the lights around the shore.[5]

Произведения, созданные воображением ума, на испанском языке появляются не часто, даже до чрезвычайности редко. Классики использовали аллегорию, сатирическое преувеличение и подчас просто словесную невнятицу; из произведений недавнего времени можно вспомнить, пожалуй, только какой-либо рассказ из книги «Чуждые силы»[6] и какой-либо рассказ несправедливо забытого Сантьяго Дабове. «Изобретение Мореля» (в самом названии – сыновняя дань другому островному изобретателю: Моро) приносит на нашу землю и в нашу литературу новый жанр.

Я подробно обсуждал с автором сюжет романа; я перечитал произведение и не думаю, что не прав или преувеличиваю, утверждая: оно – совершенно.

2 *«Поворот винта»* – роман североамериканца Генри Джеймса.

3 *«Процесс»* – роман Франца Кафки.

4 *«Путешественник по земле»* – роман француза Жюльена Грина,

5

Я здесь бывал ли наяву
Хоть раз? Когда?..
Но узнаю
Обвившую порог траву,
В саду скамью,
Огни на берегу и моря синеву.

6 *«Чуждые силы»* – роман аргентинца Леопольда Лугонеса.

Хорхе Луис Борхес.

ИЗОБРЕТЕНИЕ МОРЕЛЯ
Роман

Сегодня здесь, на острове, начались чудеса. Вдруг наступило лето. Я перетащил постель к бассейну и купался допоздна. Спать было невозможно. Стоило вылезти из воды, как через две-три минуты капли, не принося облегчения, превращались в пот. На рассвете меня разбудил патефон. Я не смог вернуться в музей за вещами и убежал, прячась по расщелинам. Сейчас я стою на южной, низкой оконечности острова, в гуще водяных растений, отбиваясь от комаров, по пояс в грязной воде, и думаю, что по-идиотски поспешил с бегством. Вряд ли эти люди приехали за мной; скорее всего, они меня и не видели. Но судьба моя неумолима, и вот я торчу здесь, без всего, в самой неудобной, наименее пригодной для жизни части острова, среди болот, которые раз в неделю заливает море.

Я пишу эти строки, чтобы оставить память о недобром чуде. Если через день-другой я не погибну, утонув или сражаясь за свою свободу, я напишу трактаты «Моя защитительная речь, обращенная к живым» и «Похвала Мальтусу». Я обрушусь с этих страниц на тех, кто вырубает леса и заселяет пустыни; я докажу, что нынешний мир с его усовершенствованиями в сфере сыска, документации, журналистики, с его радиотелефонами и таможенными досмотрами делает непоправимой любую ошибку правосудия, становится для преследуемых беспросветным адом. До сих пор я пока не написал ничего, кроме этого листка, о котором вчера и не помышлял. Сколько дел у человека на пустынном острове! Как мучительно тверда древесина! Как необъятно пространство и как мала юркая птица!

Мысль приехать сюда подал мне один итальянец, торговавший коврами в Калькутте; он сказал (на своем языке):

– Для беглеца – такого, как вы – в мире есть лишь одно место, но жить в этом месте нельзя. Это остров. Году в двадцать четвертом белые построили там музей, часовню, бассейн. Сооружения закончены и заброшены.

Я прервал его, прося помочь мне туда добраться; торговец продолжал:

– На остров не заглядывают ни китайские пираты, ни белые суда Рокфеллеровского института. Там рассадник неизвестной болезни, которая начинается снаружи и убивает, проникая внутрь. У человека выпадают ногти и волосы, отмирает кожа и роговица глаз, больной живет неделю-другую. Японский крейсер «Намура» встретил яхту, побывавшую на этом острове, – все, экипаж и пассажиры, были мертвы, без кожи, без волос, без ногтей. Яхту потопили, обстреляв из пушек.

Однако моя жизнь была столь ужасна, что я решился… Итальянец пробовал меня отговорить, но все же я сумел заручиться его помощью.

Вчера вечером я в сотый раз заснул на безлюдном острове… Глядя на здания, я думал, во сколько обошлась доставка сюда этих камней; а как легко было бы построить печь для обжига кирпича. Я заснул поздно; но на рассвете меня разбудила музыка и громкие голоса. Сон беглеца чуток; я уверен, что сюда не подходило ни одно судно, не прилетал ни самолет, ни дирижабль. И однако, в эту душную летнюю ночь на травянистых склонах холма внезапно появились люди; они танцуют, прогуливаются, купаются в бассейне, словно отдыхающие, приехавшие пожить в Лос-Текесе[7] или в Мариенбаде[8].

7 Город в Венесуэле, неподалеку от венесуэльской столицы – Каракаса.

8 Город-курорт в Чехии. Роман «Изобретение Мореля», изданный на испанском в 1940 году, вскоре был переведен на французский язык. Как вспоминал впоследствии французский писатель Ален Роб-Грийе, именно этот роман натолкнул его на мысль написать сценарий получившего широкую известность фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» (снят в 1961 году режиссером Аленом Рене).

От болот, где стоячая вода мешается с морской, я вижу вершину холма, вижу гостей, поселившихся в музее. Их необъяснимое появление можно было бы отнести за счет этой душной ночи, счесть их видениями, возникшими в моем мозгу; однако здесь нет ни галлюцинаций, ни призраков, – это настоящие люди, по крайней мере, такие же настоящие, как я.

Одеты они так, как одевались несколько лет назад; эта причуда подчеркивает, мне кажется, некую фривольность, но надо признать, что теперь принято преклоняться перед магией недавнего прошлого.

Кто знает, отчего судьба обрекла меня – приговоренного к смерти – постоянно следить за ними. Они танцуют на холме, среди высокой травы, где так много змей. Это мои невольные враги: явившись сюда, чтобы послушать «Валенсию» и «Чай вдвоем» – громозвучный патефон разносит мелодии по всему острову, перекрывая шум ветра и моря, – они, сами того не ведая, лишили меня всего, созданного с таким трудом и необходимого для жизни, загнали в гибельные прибрежные болота.

Наблюдать за ними – опасная игра: как любое культурное общество, они непременно владеют хитрыми современными способами опознания личности и, обнаружив меня, путем ряда манипуляций и процедур, используя отпечатки пальцев и бдительных консулов, не замедлят отправить в тюрьму.

Я преувеличиваю: я слежу за этими ненавистными гостями с каким-то наслаждением – ведь я столько времени не видел людей, но нельзя же смотреть на них безотрывно.

Во-первых, у меня много работы – место, где я нахожусь, способно убить самого сноровистого отшельника, а я оказался здесь только что, и у меня нет инструментов.

Во-вторых, я опасаюсь, что они захватят меня врасплох, пока я буду подглядывать за ними, или поймают, пожелав осмотреть эту часть острова; если я хочу обезопасить себя, надо устроить тайное убежище в самых густых зарослях. И наконец, увидеть их непросто – они на вершине холма и тому, кто подстерегает их снизу, кажутся мимолетными видениями; они возникают лишь тогда, когда подходят к краю расщелин.

Положение у меня незавидное. Пришлось переселиться в эти болота как раз тогда, когда приливы особенно высоки. Несколько дней назад вода поднялась выше, чем за все время моего пребывания на острове.

Когда смеркается, я собираю ветви, покрываю их листьями. И уже не удивляюсь, пробуждаясь в воде. Прилив начинается часов в семь утра, иногда и раньше. Но раз в неделю он бывает настолько высок, что каждый может стать последним. Я делаю зарубки на стволе, ведя счет дням; любая ошибка – и я захлебнусь.

Неприятно думать, что эти записи походят на завещание. Если иного не дано, надо постараться, чтобы мои утверждения можно было проверить; пусть никто, когда-либо заподозрив меня во лжи, не усомнится в главном: меня осудили несправедливо. Эпиграфом к этому документу я поставлю девиз Леонардо да Винчи «Ostinato rigore»[9] и попытаюсь строго его придерживаться.

Кажется, остров этот называется Биллингс и входит в архипелаг Эллис. Дальнейшие подробности вы можете получить у торговца коврами Далмацио Омбрельери (калькуттский пригород Рамкришнапур, Хайдарабадская улица, 21). Этот итальянец кормил меня несколько дней, что я прожил у него, завернутый в персидские ковры, потом погрузил в корабельный трюм. Упоминая о нем в этом дневнике, я не хочу его компрометировать, не хочу быть неблагодарным… «Моя защитительная речь, обращенная к живым», несомненно, убедит всех: как в действительности, так и в памяти людской – а именно там, быть может, и находится рай – Омбрельери проявил милосердие, пожалев несправедливо осужденного, и все, кто когда-либо вспомнит его, будут думать о нем с благодарностью.

Я приплыл в Рабаул; с визитной карточкой торговца коврами навестил члена известнейшего подпольного сицилийского общества; в металлическом свете луны, в чаду

9 «Упорствуя неотступно».

консервной фабрики по переработке моллюсков я получил последние инструкции и краденую лодку; налег на весла и приплыл на остров (с компасом, в котором не разбираюсь, не ориентируясь в море, с непокрытой головой, больной, в бреду). Лодка ткнулась в песок на восточном берегу (очевидно, коралловые рифы, окружающие остров, были в те часы под водой); я просидел в лодке еще день и ночь, вновь и вновь переживая весь этот ужас и забыв, что уже доплыл.

Остров покрыт растительностью. Травы и цветы – весенние, летние, осенние, зимние – торопливо сменяют друг друга, причем больше спешат народиться, чем умереть, занимая время и землю идущих им вслед; неудержимо скапливаются, густеют. И напротив, деревья здесь больны – у них высохшие кроны, покрытые лишаями стволы. Я нахожу этому два объяснения: либо травы отнимают у почвы все силы, либо корни деревьев уперлись в камень (тот факт, что молодые деревца здоровы, подтверждает мою гипотезу). Деревья на холме настолько затвердели, что обрабатывать их невозможно, но и от тех, что растут внизу, тоже никакого толка – древесина крошится, в руках остаются лишь мягкие щепки, липкая труха.

На вершине холма, над поросшими травой ущельями (ущелья на западе – каменистые), построены музей, часовня и бассейн. Все три сооружения современных форм, прямоугольные, без украшений, выложенные из нешлифованных камней. Как часто бывает, камень кажется плохой имитацией и не очень гармонирует со стилем зданий.

Часовня – продолговатая, низкая (от этого она кажется еще длиннее). Бассейн сделан хорошо, но поскольку его края приходятся вровень с землей, в него неизбежно забираются змеи, лягушки, жабы, водяные насекомые. Музей – большое трехэтажное здание с плоской крышей, по фасаду идет галерея, другая, поуже, – позади дома, а наверху высится цилиндрическая башенка.

Оказалось, что дом открыт, и я сразу же там обосновался. Называю его музеем потому, что так говорил о нем торговец-итальянец. Почему? Вряд ли он знал это сам. Здесь мог бы разместиться великолепный отель человек на пятьдесят или санаторий.

Внизу – холл, где вдоль стен тянутся книжные шкафы; книг не счесть, но подобраны они односторонне: только романы, стихи, пьесы (за исключением одной книжечки – Белидор, «Travaux. Le Moulin Perse»[10], Париж, 1937; она лежала на столике из зеленого мрамора, а теперь оттягивает карман моих драных штанов. Я взял ее отчасти потому, что меня привлекло странное имя – Белидор, а отчасти из-за названия «Le Moulin Perse» – не объяснит ли книга назначение мельницы, стоящей внизу, недалеко от берега). Я прошел вдоль полок, подыскивая материал для неких исследований, которые оборвались с началом судебного процесса и которые я попытался продолжить на пустынном острове (я считаю, мы теряем бессмертие из-за того, что борьба со смертью не претерпела никакой эволюции, она направлена на первую, самую очевидную цель – поддерживать жизнь во всем организме. Следовало бы стремиться к сохранению лишь того, что важно для сознания).

Стены в холле облицованы розовым мрамором, кое-где в них сделаны узкие зеленые ниши, наподобие утопленных пилястров. Окна с голубыми стеклами достигли бы второго этажа в моем родном доме. Четыре алебастровых светильника – в чаше каждого из них могло бы поместиться по шесть человек – льют ровный электрический свет. Книги немного облагораживают это пестрое убранство. Одна дверь ведет на галерею, другая – в круглую залу; еще одна, маленькая, укромно спрятанная за ширмой, – на винтовую лестницу.

Из галереи поднимается главная лестница – она оштукатурена под мрамор и покрыта ковром. Под навесом стоят плетеные кресла, вдоль стен – полки с книгами.

Столовая большая – площадью примерно шестнадцать метров на двенадцать. На стенах, над капителями тройных колонн из черного дерева, расположены площадки, нечто вроде лож, и в каждой красуется статуя сидящего божества – полу-индийского, полу-египетского, сделанного из терракоты цвета охры; статуи втрое больше человеческого роста; их окружают темные, выступающие листья гипсовых растений. Ниже идут большие панели с

10 «Работы. Персидская мельница».

рисунками Цугухару[11], они выпадают из стиля (слишком скромны).

Пол круглой залы представляет собой аквариум. В воде, в невидимых стеклянных коробах помещены электрические лампы (единственный источник света в этой зале без окон). Я вспоминаю аквариум с отвращением. Когда я вошел туда в первый раз, там плавали сотни дохлых рыб, – каково-то было выгребать их оттуда; потом я дни напролет промывал аквариум свежей водой, но все равно ко мне тут всегда липнет запах тухлой рыбы (этот запах напоминает родные пляжи, море без конца выбрасывает на песок массу рыбы, живой и дохлой, запах разносится на многие километры вокруг, и местные жители устают зарывать рыбу в землю). В этой комнате с освещенным полом и черными лаковыми колоннами ты представляешь себе, как чудесным образом идешь по поверхности пруда где-то в густом лесу. Одна дверь ведет в холл, другая – в маленький зеленый зал, где есть пианино, патефон и зеркальная ширма (створок двадцать, не меньше). Спальни, роскошные и неуютные, обставлены современной мебелью. Их здесь пятнадцать. В своей я провел грандиозные преобразования, результаты которых были ничтожны. Больше у меня нет ни картин (Пикассо), ни дымчатого стекла, ни книг с подписями знаменитостей, но я живу среди разрухи.

Дважды при схожих обстоятельствах я совершил открытия в подвалах. В первом случае – когда в кладовой стали иссякать продукты; я искал еду и открыл целое машинное отделение. Обходя подвал, я заметил, что ни в одной стене не было небольшого оконца, которое я углядел снаружи, – с толстыми стеклами и решеткой, оно пряталось за каким-то хвойным кустом. Словно споря с кем-то, утверждавшим, что этого окна нет, что оно мне приснилось, я вышел наружу убедиться, так ли это.

Окно было на месте. Спустившись в подвал, я с трудом сориентировался и нашел участок стены, соответствовавший окну. Значит, стена была двойной. Я принялся искать щели, потайные двери. Подумал, что здесь, на острове, в замурованном пространстве должны храниться сокровища, но потом решил проломить стену и войти: ведь скорее всего там склад – если не пулеметов и боеприпасов, то, возможно, продовольствия.

Я взял железный засов, закрывавший одну из дверей, и, преодолевая слабость, продолбил в стене отверстие; оттуда брызнул голубой свет. Я трудился не покладая рук и в тот же день проник внутрь. Моим первым ощущением было не разочарование (ибо продуктов там не нашлось) и не облегчение (ибо я обнаружил водяной насос и электрическую установку), а долгий, восхищенный покой: стены, потолок, пол – все было облицовано голубым фарфором, и даже сам воздух (свет проникал сюда лишь через высокое оконце, скрытое кустом) пропитывала насыщенная голубизна, как пену иных водопадов.

Я очень мало понимаю в моторах, но тем не менее смог запустить в действие некоторые из них. Когда у меня кончается дождевая вода, я включаю насос. Меня удивили и собственные способности, и прекрасное состояние несложных, в сущности, машин. Я прекрасно знаю: если что-то сломается, мне останется лишь смириться. Я такой невежда в технике, что до сих пор не смог понять назначение ни зеленых моторов, находящихся в той же комнате, ни вала с лопастями, который установлен в южной, низкой части острова (он соединен с подвалом металлической трубой; если бы не его удаленность от берега, я бы решил, что он имеет какое-то отношение к приливам, я мог бы вообразить, что он служит для подзарядки аккумуляторов, наверняка существующих при генераторе). Из-за моей технической беспомощности я стараюсь экономить: включаю моторы, лишь когда это крайне необходимо.

И все же однажды свет в музее горел всю ночь. То была вторая серия моих открытий в подвалах.

Я был нездоров. Мне подумалось, что где-то здесь может находиться аптечка; наверху я ничего не нашел, спустился в подвалы… и в эту ночь забыл о болезни, забыл о том, что такие кошмары случаются лишь в снах. Я обнаружил потайную дверцу, лестницу, второй подвал.

11 Французский художник японского происхождения.

Вошел в многоугольную камеру, напомнившую мне бомбоубежище, которое я видел в какой-то кинокартине; стены здесь были выложены симметрично расположенными плитками двух типов – одни из чего-то вроде пробки, другие из мрамора. Я сделал шаг: под каменными аркадами в восьми разных направлениях я увидел, словно в зеркалах, восемь таких же камер. Потом услышал шаги, пугающе ясные, – они раздавались вокруг, сверху, снизу – по всему музею. Я сделал еще шаг-другой: звуки пропали, словно утонув в снегу, – так бывает на холодных нагорьях Венесуэлы.

Я поднялся по лестнице. Кругом царила тишина, слышался лишь далекий шум моря, все было неподвижно, не считая разбегавшихся насекомых. Я боялся нашествия призраков – или полицейских, что было менее вероятно. Несколько часов я прятался за занавесками, терзаясь мыслью, что выбрал неудачное место: наверное, меня видно снаружи; если я захочу убежать от того, кто войдет в комнату, мне придется открыть окно. Немного погодя я осмелел и решил осмотреть дом, но мне было неспокойно: я ведь ясно слышал осторожные шаги, раздававшиеся кругом, на разных этажах.

На рассвете я вновь спустился в подвал. Вокруг опять зазвучали шаги – вблизи и вдали. Но теперь я все понял. Сердясь на себя, одинокий и окруженный двойниками, я продолжал исследовать второй подвал в сопровождении навязчивой стаи звуков. Здесь девять одинаковых камер, ниже – еще пять. Они похожи на бомбоубежища. Кто же эти люди, соорудившие в двадцать четвертом году это здание? Отчего они забросили его? Каких бомбардировок опасались? Удивляет, почему инженеры, построившие такой прекрасный дом, были по-современному предубеждены против лепнины – до такой степени, что создали это голое помещение, способное свести человека с ума: твой легкий вздох повторяется эхом, и в течение двух-трех минут ты слышишь вздохи повсюду – близко, далеко. Когда эхо замолкает, воцаряется тишина, жуткая, как тяжесть во сне, не дающая тебе убежать.

Внимательный читатель может составить на основе моих наблюдений список более или менее удивительных предметов, ситуаций, фактов; последнее – это поразительное появление на холме нынешних его обитателей. Надо ли связывать этих людей с теми, что жили здесь в 1924 году? Можно ли предположить, что сегодняшние туристы – те же строители, которые соорудили музей, часовню и бассейн? Трудно поверить, будто один из этих людей, устав слушать «Валенсию» и «Чай вдвоем», сел и начертил проект такого дома, правда, отравленного эхом, но зато надежно защищающего от бомб.

Каждый вечер, на закате солнца, на скалу приходит женщина. Голова ее повязана цветным платком; она сидит, обхватив руками колено; наверное, еще до рождения кожу ее позолотило солнце; глаза, черные волосы, осанка – все делает ее похожей на какую-нибудь цыганку или испанку с самых безвкусных картин.

Я старательно умножаю страницы дневника и забываю о трактатах, которым надлежит оправдать пребывание моей тени на этой земле («Моя защитительная речь, обращенная к живым» и «Похвала Мальтусу»). Однако то, что я сейчас пишу, будет предупреждением. Эти строки останутся неизменными, несмотря на нестойкость моих убеждений. Главное – придерживаться истины, хорошо мне известной: ради собственной безопасности я должен навсегда отказаться от любой помощи со стороны ближнего.

Я ничего не жду. Но мне не страшно. Утвердившись в этом, я успокоился.

Однако женщина дала мне какую-то надежду. Надо опасаться надежд.

Вечер за вечером она любуется закатом, а я из своего укрытия любуюсь ею. Вчера и сегодня тоже я обнаружил, что ночью и днем жду этого часа. Женщина, чувственно-гибкая, как цыганка, с ее слишком большим, слишком ярким платком на голове, кажется смешной. Однако я чувствую – наверное, слегка подшучивая над собой, – что, если бы мог на мгновение ощутить на себе ее взгляд, услышать обращенное ко мне слово, на меня пахнуло бы спасительным теплом, исходящим от друзей, от невесты, от родных.

Должно быть, мои надежды порождены препятствиями в образе рыбаков и теннисиста с бородкой. Сегодня меня рассердило, что женщину сопровождал на скалу какой-то тип в теннисном костюме; это не ревность, но вчера я тоже ее не видел – когда я шел к скалам, на

пути у меня оказались рыбаки; они ничего не сказали – я спрятался, и меня не заметили. Я попытался обойти их сверху – бесполезно: там, глядя на них, стояли их друзья. Пришлось сделать большой крюк, я подошел, когда солнце уже село и пустынные скалы ждали приближения ночи.

Наверное, я собираюсь совершить ужасную глупость: эта женщина, греющаяся в последних солнечных лучах, может выдать меня полиции.

Я к ней несправедлив, но не могу забыть, как оберегает нас закон. Те, кто определяет наказание, распоряжаются нашей жизнью, и мы, защищаясь, отчаянно цепляемся за свободу.

Сейчас, грязный, обросший, изрядно постаревший, я питаю надежду на благотворное общество этой несомненно прекрасной женщины.

Верю, что главная трудность мимолетна: изменить первое впечатление в свою пользу. Наружность обманчива, я должен это доказать.

За пятнадцать дней приливы трижды превращались в наводнения. Вчера я чудом не утонул. Вода застигла меня врасплох. По своим зарубкам я высчитал, что большой прилив должен быть сегодня. Если бы на рассвете я заснул, то уже был бы мертв. Очень скоро вода стала прибывать с решимостью, какая овладевает ею раз в неделю. Я был настолько легкомыслен, что теперь не знаю, чему приписать эту неожиданность: ошибкам в расчетах или временному изменению периодичности больших приливов. Если приливы изменили свои привычки, жизнь в этом болоте станет еще рискованнее. Однако я приспособлюсь. Я перенес уже столько лишений!

Множество дней я был болен, в жару, страдал от болей и ломоты, заботясь лишь о том, как бы не умереть с голоду, не в силах писать (а я должен высказать людям свое возмущение, я дорого заплатил за это право).

Когда я приехал, в кладовой музея были кое-какие припасы. В печи – классической закопченной печи – я испек из муки, соли и воды несъедобный хлеб. Вскоре я стал есть сырую муку из мешка (запивая ее водой). Но всему пришел конец, даже порченым бараньим языкам, даже спичкам (я расходовал по три штуки в день). Насколько выше нас по развитию стояли изобретатели огня! Много дней – неловко, исцарапывая руки в кровь – я бился над изготовлением ловушки; когда она наконец сработала, я смог полакомиться птичьим мясом – окровавленным, сладковатым. Следуя традиции отшельников, я также пробовал есть корни. Боль, холодный пот, пугающая слабость, припадки, которых я не помню, незабываемые страшные галлюцинации – все это научило меня отличать, какие растения ядовитые.

Я зол: у меня нет никаких инструментов, и место здесь нездоровое, непригодное для жилья. Однако несколько месяцев назад нынешняя жизнь показалась бы мне недостижимым раем.

Ежедневные приливы не опасны и не всегда начинаются в строго определенный час. Иногда они подмывают листья, служащие мне ложем, и я просыпаюсь в морской воде, смешанной с грязной, болотной.

Для охоты я отвожу вторую половину дня; по утрам стою по пояс в воде, двигаться тяжело, как будто часть тела, погруженная в воду, непропорционально велика, зато здесь меньше ящериц и змей; комары не исчезают весь день, весь год.

Инструменты остались в музее. Надеюсь как-нибудь набраться смелости и вызволить их оттуда. А может, это не так уж необходимо: люди скоро уедут, и вероятно также, что у меня просто галлюцинации.

От лодки я отрезан, она осталась у восточного берега. Правда, я не слишком много потерял: лишь сознание, что я не в плену, что могу покинуть остров; но разве я в состоянии уплыть? Я знаю: лодка – это ад. Я плыл сюда из Рабаула. У меня не было ни пресной воды, ни шляпы. Когда сидишь на веслах, море бесконечно. Раскаленное солнце, усталость – все это было сильнее меня. Больной, я плавился в жару, страдал от видений, которые не кончались.

Теперь самое важное для меня – находить съедобные корни. Я сумел так хорошо наладить свою жизнь, что делаю все необходимое, и у меня еще остается время на отдых. В

этом смысле я свободен и счастлив.

Вчера я припозднился, а сегодня работал без передышки, и все же кое-что осталось на завтра; когда столько дел, мысли о вчерашней женщине не лишают меня сна.

Накануне утром море затопило низину. Никогда оно не разливалось так широко. Вода еще прибывала, и тут пошел дождь (дожди здесь редкие, но невероятно сильные, с ураганным ветром). Пришлось искать укрытия.

Сосредоточив все внимание на скользком склоне, стене дождя, порывах ветра и ветвях, преграждавших путь, я поднялся наверх, сообразив, что можно спрятаться в церкви (там никогда никого не бывает).

Я зашел в помещение, отведенное для священника, – здесь он завтракает и переодевается (среди обитателей музея я не видел ни священника, ни пастора), – и вдруг передо мной оказались два человека, они словно не вошли, а возникли из ничего, порожденные игрой света или воображения… Нерешительно, неуклюже я спрятался внизу, у алтаря, среди ярких шелков и кружев. Они не заметили меня. До сих пор не понимаю, почему.

Какое-то время я сидел, не шевелясь, съежившись в неудобной позе под главным алтарем и, чуть раздвинув шелковые занавеси, смотрел, что происходит в церкви, прислушивался к звукам, доносившимся сквозь бурю, глядел перед собой на темные горки муравейников, на суету муравьиных дорожек, на больших, светлых муравьев, на сдвинутые с места плитки пола… Слушал, как скользят по стенам и падают с потолка частые капли, как бурлит вода в желобах, как дождь стучит по земле, как грохочет гром; я сосредоточился на этом слитном шуме бури, скрипах деревьев, реве моря, кряхтеньи балок, чтобы выделить чьи-то приближающиеся шаги или голос, чтобы избежать еще одного неожиданного появления…

Сквозь дождь и ветер пробились обрывки мелодии, ясной, очень далекой… Потом музыка замолкла, и я подумал, что она – точно фигуры, которые, как подметил Леонардо, начинаешь видеть, глядя какое-то время на пятна сырости. Мелодия зазвучала снова, и глаза у меня затуманились, гармония разнежила меня, но за удовольствием таился страх.

Чуть погодя я подошел к окну. Вода – белая, матовая за стеклом и густо-темная вдали – висела почти непроницаемой пеленой… Я был настолько поражен, что, забыв про осторожность, выглянул в открытую дверь.

Здесь живут неслыханные снобы (или пациенты, сбежавшие из желтого дома). Отнюдь не из желания порисоваться – или они уже учли мое присутствие? – эти люди ради оригинальности преступают границы всех терпимых неудобств, рискуют собственной жизнью. Видит Бог, это правда, а не мои злые домыслы… Они вынесли патефон, стоявший в зеленой комнате, соседней с аквариумом, и теперь все, мужчины и женщины, рассевшись на скамьях или на траве, беседуют, слушают музыку, танцуют среди бешеного ливня и ветра, способного повалить деревья.

Женщина в цветном платке стала мне необходимой. Быть может, все эти гигиенические усилия – стараться ничего не ждать – немного смешны. Ничего не ждать от жизни, чтобы не разочаровываться, не рисковать; считать себя мертвым, чтобы не умереть. Мое существование показалось мне вдруг невыносимым летаргическим сном; надо проснуться. После бегства, после непрерывной борьбы с усталостью, разрушавшей мой организм, я достиг покоя; может статься, мои поступки вернут меня к прошлому, я снова предстану перед судом – но это лучше, чем нынешнее долгое чистилище.

Все началось восемь дней назад. Тогда впервые совершилось чудо: на острове появились люди! Вечером я дрожал у подножья южных скал. Я сказал себе, что все это вульгарно: цыганский облик женщины и моя влюбленность – следствие долгого одиночества. Я вернулся два вечера спустя: женщина сидела на скале, и постепенно я пришел к мысли, что единственное чудо – это она; потом настали горькие дни, когда я не видел ее: рыбаки, бородач, наводнение, ликвидация его последствий. Сегодня к вечеру…

Я напуган, но еще больше недоволен собой. Теперь надо ждать, что с минуты на минуту сюда явятся гости; если они задерживаются – malum signum[12], значит, они прикидывают, как меня поймать. Припрячу-ка свой дневник, подготовлю объяснение и буду ждать неподалеку от лодки – готовый сражаться, готовый убежать. И все же я не думаю об опасностях. Меня тревожит другое: я был слишком неосторожен и теперь могу потерять женщину, потерять навсегда.

Искупавшись, чистый и еще более взлохмаченный (после мытья борода и волосы встали у меня торчком), я отправился к ней на свидание. План у меня был такой: подождать ее на скалах; женщина, придя, увидит, как я увлеченно наблюдаю закат; времени хватит на то, чтобы удивление и возможное неудовольствие сменились любопытством; нас свяжет общая любовь к солнечным закатам; она спросит, кто я, и мы станем друзьями…

Я ужасно опоздал (меня приводит в отчаяние собственная непунктуальность; подумать только, что при дворе пороков, называемом цивилизованным миром, в Каракасе, она была моим особым отличием, одной из самых характерных привычек!).

И теперь я все испортил: женщина глядела на закат, а я внезапно возник из-за камней. Неожиданно появившийся, обросший, да еще при взгляде снизу, я должен был показаться страшилищем.

В любую минуту за мной придут. Объяснений я не приготовил. Я не боюсь.

Эта женщина не только играет под цыганку. Меня поражает ее отвага. Она ничем не дала понять, что видит меня. Ни малейшего невольного жеста, даже веки не дрогнули.

Солнце все еще стояло над горизонтом (то было не солнце, а лишь его видимость – я взошел на холм, когда оно уже село или вот-вот сядет, и мы видим солнце там, где его нет). Я торопливо вскарабкался по камням и увидел женщину: цветной платок, руки, обхватившие колено, устремленный вдаль взгляд – все то, что делало мир ярче. Я с трудом перевел дух. Скалы, море словно поплыли перед глазами.

Подумав о море, я услышал его шум, его движение, его усталый ропот – оно было рядом, оно точно было за меня. Я слегка успокоился. Вряд ли женщина могла слышать мое дыхание.

И тут, чтобы отсрочить миг, когда придется заговорить, я открыл старый закон психологии. Обратиться к женщине лучше с высокого места, глядя сверху вниз. Это физическое преимущество отчасти компенсирует мои недостатки.

Я поднялся повыше. Новые усилия еще больше утомили меня. Мне стало не по себе – от поспешности: я просто вынужден был заговорить с ней сегодня же, если я не хотел напугать ее – в этом пустынном месте, в этот сумеречный час, – мне нельзя было медлить ни минуты; от всего ее облика: словно позируя невидимому фотографу, она была спокойна, как вечер, только еще абсолютное; и мне предстояло нарушить ее покой.

Начать разговор – рискованное предприятие. Есть ли у меня голос?

Долго смотрел я на нее из-за камней. Потом смутился: она еще подумает, будто я подглядываю. И вышел вперед, наверное, слишком внезапно, однако грудь ее вздымалась так же ровно, женщина так же задумчиво смотрела вдаль, точно я был невидим.

Это меня не остановило.

– Сеньорита, вы должны выслушать меня, – сказал я в надежде, что она не снизойдет к моей просьбе, от волнения я забыл приготовленные фразы.

Мне подумалось, что обращение «сеньорита» здесь, на острове, звучит нелепо. К тому же фраза была слишком категорична (в сочетании с внезапным появлением, вечерним часом, безлюдьем).

– Понимаю, что вы не удостоите… – продолжил я.

Уж не помню всего, что я сказал. Я был почти невменяем. Говорил размеренно и негромко, с настойчивостью, придававшей словам некий неприличный смысл. Снова назвал женщину «сеньорита». Потом замолчал и стал смотреть на мирный закат, надеясь, что это

12 Плохой знак.

общее занятие сблизит нас. Затем опять заговорил. Я так старался овладеть собой, что говорил все тише, оттого тон казался все неприличнее. Прошло несколько минут, мы оба молчали. Я принялся требовать, умолять, это было отвратительно. В конце я вел себя особенно смешно: почти крича, срывающимся голосом я просил, чтобы она оскорбила меня, чтобы отдала в руки полиции, но только не молчала.

Казалось, женщина не то что не видит и не слышит меня – ее уши словно не были предназначены для слуха, ее глаза словно не годились для того, чтобы видеть.

По-своему она все же оскорбила меня: показала, что совершенно не боится. Когда стемнело, женщина подхватила мешочек с шитьем и неторопливо направилась вверх по холму.

За мной еще никто не пришел. Может, этой ночью они сюда не явятся. Может, эта женщина настолько необыкновенна, что не упомянула о моем появлении. Ночь темна. Я хорошо знаю остров: ночью целая армия меня не отыщет.

И опять она будто не видела меня. Я совершил лишь одну ошибку – промолчал, допустил, чтобы воцарилась тишина.

Когда женщина пришла на скалы, я сидел и смотрел на закат. Она постояла, выбирая, где бы расстелить плед. Потом двинулась ко мне. Я мог бы коснуться ее рукой. Эта мысль привела меня в ужас (словно мне предстояло коснуться призрака). Было что-то жуткое в том, насколько ей безразлично мое присутствие. И все же, усевшись рядом со мной, она как бы бросала мне вызов и в то же время сводила это безразличие на нет.

Вынув книгу из сумки, она принялась читать. Я воспользовался передышкой, чтобы успокоиться.

Потом, увидев, что женщина отложила книгу и подняла глаза к горизонту, подумал: «Она готовит фразу». Но фразы не последовало. Тишина длилась, сгущалась. Я понял, как опасно ее не прерывать, но, непонятно почему, молчал.

Никто из ее знакомых не искал меня. Или она не говорила обо мне, или их настораживает мое присутствие здесь (и потому женщина ежедневно приходит на скалы, чтобы отвлечь меня, придать эпизоду романтическую окраску). Я не верю ей. И готов к любой неожиданности, к тайному заговору.

Я замечаю в себе склонность предвидеть только худшее. Эта склонность развилась за последние три-четыре года; она не случайна и сердит меня. Женщина возвращается, ищет желанной близости, ее поведение предвещает возможность слишком счастливых перемен, чтобы это было правдой… Я забываю о бороде, о своих годах, о полиции, которая столько гонялась за мной и, наверное, все еще ищет, упорная, как сбывшееся проклятие. Нечего обманывать себя надеждой. Я пишу это, и тут же мне в голову приходит мысль, которая сама по себе – надежда. Не думаю, чтобы я обидел женщину, но может все-таки было бы кстати принести извинения… Что делает мужчина в подобных случаях?

Посылает цветы. Это глупый план… но такие глупости, когда их совершают со всей почтительностью, завоевывают сердца. На острове много цветов. К моему появлению вокруг бассейна и у музея еще сохранились клумбы. Наверняка я сумею выложить узор из цветов на траве, возле скал. Вдруг природа поможет мне добиться благосклонности женщины, поможет покончить с молчанием и чрезмерной осторожностью. Это будет мой последний поэтический аргумент. Я не умею сочетать краски, в живописи я почти ничего не смыслю… И все же надеюсь, что в состоянии выполнить свой скромный замысел, доказывающий пристрастие к садоводству.

Я встал на рассвете. Во мне жило чувство, что мое самопожертвование не будет напрасным.

Я нашел цветы (их много на дне ущелий). Принялся срывать те, что казались менее неприятными. Даже цветы неопределенной окраски по-животному жизнелюбивы. Какое-то время спустя я захотел привести их в порядок – они уже не помещались в руках; оказалось, что все завяли.

Я собрался было отказаться от своего плана, но вспомнил, что повыше, недалеко от музея, есть еще одно место, где много цветов… Было рано, и мне подумалось: риск невелик, можно пойти и посмотреть. Приезжие, конечно же, еще спят. Цветы наверху мелкие, с жесткими лепестками.

Я сорвал один-другой. Они не спешат умирать так стремительно.

Их недостатки – размер и то, что они растут на виду.

Почти все утро я торчал на холме, меня обнаружил бы любой, кто имел смелость встать до десяти. Но похоже, что беда, зависевшая от такой малости, не произошла. Собирая цветы, я следил за музеем и не заметил никого из его обитателей; это позволяет предположить, что и они не заметили меня.

Цветы совсем крохотные. Мне придется пересадить тысячи и тысячи кустиков, если я хочу сделать кое-что покрупнее, чем игрушечный садик (он был бы красивее и устроить его было бы проще, но есть опасность, что женщина попросту не увидит его).

Старательно подготовив площадку, я стал рыхлить почву (земля здесь твердая, территория, которую я хочу занять, очень велика), потом полил ее дождевой водой. Когда все будет готово, придется опять идти за цветами. Постараюсь, чтобы меня не поймали, главное, нельзя, чтобы прервали мою работу или увидели ее прежде, чем она будет закончена. Я забыл, пересаживать цветы надо с несусветными предосторожностями. Не хочу думать, что после таких опасностей, таких усилий цветы могут не дожить до захода солнца.

К сожалению, мне чужда эстетика садоводства, но, во всяком случае, моя работа будет выглядеть трогательно среди травы и сорняков. Конечно, это надувательство: в соответствии с моим планом сегодня вечером здесь будет красоваться тщательно выложенный узор из цветов, а завтра мой сад умрет или опустеет (если задует ветер).

Мне немного стыдно описывать свой проект. Я выложу огромную фигуру сидящей женщины: обхватив руками колено, она смотрит на закат; перед женщиной – коленопреклоненная фигура маленького мужчины, сделанная из листьев (под этим изображением я поставлю в скобках слово «я»).

Внизу будет надпись:

Возвышенный, близкий и тайный магнит, как роза, живое молчанье хранит.

Моя усталость уже перешла в болезнь. Я мог бы сделать себе божественный подарок – улечься под деревьями и отдыхать до шести. Но я отложу это удовольствие. Наверное, я слишком возбужден и оттого ощущаю настоятельную потребность писать. Предлогом служит мысль, что отныне передо мной открываются три варианта будущего: либо общество этой женщины, либо одиночество (то есть смерть, мертвым пробыл я последние годы, но сейчас, после встречи с женщиной, это уже невозможно), либо грозное судилище. Так что же меня ждет? Трудно предугадать заранее. Однако работа над этими записками может обострить столь полезную способность к предвидению и, пожалуй, благоприятно повлияет на будущее.

Я работал точно под властью чар – результат словно бы не вытекал из моих действий. Наверное, именно в этом и заключается волшебство: надо со всем усердием трудиться над каждой операцией, сосредоточиться на посадке каждого цветка, точно подогнать его к предыдущему. В ходе работы нельзя было понять, что получится в конце – беспорядочное скопление цветов или женская фигура.

И однако, произведение мое не кажется неряшливым, оно отличается достаточной чистотой линий. Я не смог выполнить задуманное. Мысленно как будто нет особой разницы – делать женскую фигуру сидящей, с руками на колене, или стоящей; но выложить из цветов первую почти невозможно. Моя женщина стоит прямо, расставив ступни, повернув голову в профиль, и смотрит на заход солнца. Голова – это лицо и платок из лиловых цветов. Кожа получилась плохо. Я не смог добиться смугловатого оттенка, который и отталкивает и привлекает меня. Платье – из синих цветов, оторочено белой каймой. Солнце сделано из странных здешних подсолнухов. Море – из тех же цветов, что и платье. Я стою на коленях, в

профиль, маленький (примерно в треть женской фигуры), зеленый, выложенный из одних листьев.

Надпись я изменил. Первая получилась слишком длинной, чтобы выписывать ее из цветов. Я превратил ее в следующую:

От смерти пробудила ты меня.

Хорошо, что я был мертвецом, страдавшим бессонницей. Ради красивой фразы я пренебрег вежливостью. Подпись могла читаться как скрытый упрек. Но все-таки я вернулся к той же идее. Думаю, меня ослепляло желание представить себя бывшим мертвецом и привлекала банальная находка, казавшаяся мне литературно очень удачной – заявить, что смерть рядом с такой женщиной невозможна. Вариации в рамках этой куцей мысли порой оказывались чудовищными:

Ты мертвеца здесь к жизни пробудила.

Или:

Был мертв я – а теперь горю любовью.

Расстроившись, я отказался от своего намерения. Надпись из цветов гласит:

Скромный знак робкой любви.

Все случилось так, как примерно и стоило ожидать, – просто, нормально, неожиданно благоприятно. Я погиб. Разбивая этот цветочный узор, я совершил страшную ошибку, подобно Аяксу – или еще кому-то из эллинов, уж не помню, – заколовшему животных, но в этом случае заколотые животные – я сам.

Женщина пришла раньше обычного. Она оставила сумку – из которой выглядывала книга – на камне и расстелила плед на другом, более ровном. Одета она была как для тенниса, на голове фиолетовый платок. Какое-то время женщина, словно в полудреме, смотрела на море, потом поднялась и пошла за книгой. Она двигалась с той естественностью, с какой мы движемся, бывая одни. По дороге за книгой и обратно она прошла мимо моего цветочного узора, но притворилась, будто не замечает его. А мне сейчас и не хотелось, чтобы она его разглядывала; напротив, когда женщина появилась на дорожке, я понял свое заблуждение и страстно пожалел, что не могу стереть с лица земли эту роковую улику. Постепенно я успокаивался, мной овладевало безразличие. Женщина раскрыла книгу, положила руку на страницу и продолжала смотреть на закат. Она ушла, когда стало темно.

Теперь я утешаюсь, раздумывая о своем наказании. Справедливо ли оно? Чего мне ждать после того, как я преподнес столь безвкусный подарок? Я смиренно думаю, что раз могу критиковать свое произведение, оно не испортило меня. Пусть я и создал клумбу, но бояться меня нечего. И все-таки это моя работа.

Я хотел было добавить, что здесь дают о себе знать опасности творчества, сказывается трудная обязанность соединять в своей душе – одновременно, в равновесии – разных людей. Но к чему? Подобные утешения бесполезны. Все потеряно: надежда на жизнь с женщиной, былое одиночество. Безутешно продолжаю я этот монолог, который сейчас уже неоправдан.

Несмотря на нервное напряжение, сегодня я ощутил душевный подъем, наблюдая, как вечер переходит в ночь – незамутненно прозрачный, оттененный яркой красотой этой женщины. То же блаженство я испытал ночью: я видел во сне публичный дом со слепыми проститутками, куда меня водил Омбрельери в Калькутте. Вошла эта женщина – и публичный дом преобразился в роскошный, богатый флорентийский дворец. «Как романтично!» – крикнул я, чуть не разрыдавшись от восторженности и счастья.

Однако несколько раз я просыпался, огорченный, что ничем не примечателен, что недостоин женщины с ее редкой деликатностью. Я не забуду, как она поборола неудовольствие, которое вызвала у нее моя ужасная клумба, и милосердно притворилась, что не видит ее. Меня удручали также звуки «Валенсии» и «Чая вдвоем» – они разносились по острову вплоть до рассвета.

Мне неприятно перечитывать все, что я писал о своей судьбе – с надеждой или со страхом, в шутку или всерьез. Сейчас мне очень не по себе. Кажется, будто я заранее знал, к каким мрачным последствиям приведут мои поступки, и все же продолжал действовать – упрямо, легкомысленно… Так делают только во сне, в бреду… Сегодня после обеда я увидел сон, символический и вещий: разыгрывая партию в крокет, я знал, что убиваю человека. Потом этим человеком неизбежно становился я.

Теперь кошмар продолжается… Я окончательно потерпел крах и принимаюсь рассказывать сны. Хочу проснуться и встречаю сопротивление, которое мешает нам разорвать путы самых страшных сновидений.

Сегодня женщина пожелала, чтобы я ощутил всю глубину ее безразличия. Она этого добилась. Но ее тактика бесчеловечна. Я жертва и все же надеюсь, что оцениваю происходящее объективно.

Она пришла с этим ужасным теннисистом. Вид его должен успокоить любого ревнивца. Он очень высок. Одет в теннисный пиджак гранатового цвета – слишком для него широкий, белые брюки и белые с желтым туфли огромного размера. Борода кажется приклеенной. Кожа женская, желтоватая, мраморная на висках. Глаза темные, зубы – отвратительные. Говорит он медленно, как-то по-детски разевая рот – маленький и круглый; видишь его красный язык, вечно прижатый к нижним зубам. Кисти рук у него длинные, бледные, так и чувствуется, что они всегда влажны.

Я сразу же спрятался. Не знаю, видела ли она меня; думаю, да, потому что ни разу не оглянулась, не поискала меня взором.

Уверен, мужчина поначалу вовсе не обратил внимания на мой садик. Женщина сделала вид, что не замечает его.

Я услышал французские восклицания. Потом они замолчали. Словно вдруг погрустнев, оба смотрели на море. Мужчина что-то произнес. Всякий раз, как волна с шумом ударяла о камни, я быстро делал два-три шага вперед, все ближе и ближе. Они французы. Женщина качнула головой, я не расслышал, что она сказала, но, несомненно, то был отказ; слегка прикрыв глаза, она улыбалась – горько или самозабвенно.

– Поверьте мне, Фаустина, – сказал бородач с плохо сдержанным отчаянием, и так я узнал ее имя – Фаустина (но это уже не важно).

– Нет… Я знаю, куда вы клоните…

Теперь она улыбалась иначе – просто легкомысленно. Помню, в тот миг я ненавидел ее. Она играла и с бородачом, и со мной.

– Как ужасно, что мы не понимаем друг друга. Времени мало, всего три дня, потом уже будет безразлично.

Ситуация мне не совсем понятна. Этого человека я должен считать своим врагом. Похоже, он печален, но я не удивлюсь, если его печаль – лишь игра. А игра Фаустины невыносима, почти омерзительна.

Мужчина изменил тон, желая замять сказанное.

– Не беспокойтесь. Не будем же мы спорить вечно… – сказал он и добавил еще несколько фраз примерно в том же духе.

– Морель[13], – глуповато произнесла Фаустина, – знаете ли, что вы человек загадочный?

Вопрос Фаустины не повлиял на его шутливое настроение.

13 Имя для своего героя Бьой Касарес взял из рассказов Борхеса. И выбрано оно также с явным намерением автора напомнить читателю о романе Уэллса «Остров доктора Моро». А имя главной героини – Фаустина – вводит в роман (хотя только лишь намеком) тему Фауста, важную для всего творчества Бьой Касареса.

Бородач пошел за ее платком и сумкой, лежащими в нескольких метрах от них на камне. Возвращаясь, он помахивал ими и говорил на ходу:

– Не принимайте всерьез то, что я сказал… Иногда я думаю, что если пробуждаю в вас любопытство… Но не сердитесь…

На пути туда и обратно он прошел по моей бедной клумбе. Не знаю, сделал ли он это умышленно или нечаянно, – последнее было бы еще обиднее. Фаустина видела все, клянусь, что видела, но не пожелала спасти меня от унижения; она продолжала задавать вопросы, улыбающаяся, заинтересованная, и казалось, она просто сгорает от любопытства. Считаю ее поведение неблагородным. Что и говорить, цветочный узор – полнейшая безвкусица. Но зачем позволять бородачу его топтать? Разве я и без того недостаточно растоптан?

Однако чего можно ждать от таких людей? Тип обоих как нельзя лучше соответствует идеалу, к которому стремятся изготовители больших серий неприличных открыток. Они так подходят друг другу: бледный бородач и цыганка с пышными формами и огромными глазами… Мне даже кажется, эти двое знакомы мне по лучшим коллекциям, которые предлагают в известном квартале Каракаса.

Я все еще спрашиваю себя: что мне думать? Конечно, это отталкивающая женщина. Но чего она добивается? Она играет с нами обоими, впрочем, возможно, бородач – лишь способ, чтобы играть со мной. Ей не важно, что он страдает. Присутствие Мореля только указывает на то, что я ей безразличен, безразличен абсолютно, до конца.

А если нет… Уже столько времени Фаустина подчеркивает, будто не видит меня… Мне кажется, если это будет продолжаться, я убью ее или сойду с ума. Порой я думаю, что крайне вредные условия, в которых я живу, сделали меня невидимым. Это было бы совсем неплохо: я мог бы овладеть ею силой, ничем не рискуя…

Вчера я не пошел на скалы. Много раз я твердил себе, что не пойду и сегодня. Но уже в середине дня знал – не устою. Фаустина не пришла, и кто знает, вернется ли она. Ее игра со мной закончилась (когда была растоптана клумба). Теперь мое присутствие будет ей неприятно, как повторение шутки, понравившейся в первый раз. Постараюсь, чтобы шутка не повторилась.

Но на скалах я просто потерял голову. «Я сам виноват в том, что Фаустина не пришла, – упрекал я себя, – потому как первым чересчур решительно отказался от свиданий».

Затем я поднялся на холм. Вышел из-за густых кустов и неожиданно увидел двух мужчин и женщину. Я остановился как вкопанный, затаил дыхание; между нами не было ничего (метров пять пустого, сумеречного пространства). Мужчины сидели ко мне спиной, женщина – лицом, она глядела прямо на меня. Я увидел, как она вздрогнула. Резко повернулась, посмотрела в сторону музея. Я отступил за кусты. Она сказала веселым голосом:

– Сейчас не время для историй о привидениях. Идемте в дом.

До сих пор не знаю, действительно ли они рассказывали истории о привидениях или привидения возникли во фразе оттого, что произошло нечто странное (вдруг появился я).

Они ушли. Невдалеке прогуливались мужчина и женщина. Я испугался, что меня заметят. Пара приблизилась. Я услышал знакомый голос:

– Сегодня я не ходила… (Сердце у меня екнуло. Мне подумалось, что речь шла обо мне.)

– И ты очень жалеешь?

Не знаю, что ответила Фаустина. Бородач делал успехи. Они уже были на «ты».

Я вернулся назад, твердо решив оставаться там и ждать, пока море унесет меня с собой. Если эти люди придут сюда, я не сдамся и не сбегу.

Моей решимости хватило на четыре дня (этому способствовали два высоких прилива, которые задали мне работу).

Я рано взобрался на скалы. Фаустина и бородач в костюме теннисиста пришли чуть позже. Они говорили на хорошем французском, даже слишком правильно, почти как иностранцы.

– Я утратил все ваше расположение?

– Все.

– Раньше вы верили в меня.

Я отметил, что они уже не говорят друг другу «ты»; но сразу же вспомнил: люди, перейдя на «ты», часто сбиваются, «вы» проскальзывает само собой. Виной тому, подумал я, может быть и тема разговора. В нем тоже воскрешалось прошлое, только в ином плане.

– И вы поверили бы мне, если бы я увез вас ненадолго перед тем вечером в Венсенне?

– Я никогда не поверила бы вам. Никогда.

– Влияние будущего на прошлое, – сказал Морель оживленно, но очень тихо.

Потом они долго молчали, глядя на море. Наконец мужчина заговорил, словно отгоняя мучительные мысли:

– Поверьте мне, Фаустина…

Он назойлив. Возвращается к тем же уговорам, что и восемь дней назад.

– Нет… Я знаю, куда вы клоните.

Разговоры повторяются, этому нет оправдания. Читатель не должен думать, что перед ним горькие плоды моего уединения, не должен также слишком легко связывать воедино слова «преследуемый», «одинокий», «мизантроп». Я изучал проблемы общения еще до судебного процесса; разговор – это обмен новостями (например, метеорологическими), выражение общего возмущения или общих радостей (например, интеллектуальных), уже известных собеседникам или разделяемых ими. Их побуждает удовольствие говорить, выражать вслух согласие или несогласие.

Я смотрел на них, слушал, чувствовал, что происходит нечто странное, и не мог понять, в чем тут странность. Как сердил меня этот нелепый негодяй!

– Если бы я сказал, куда клоню…

– Я вспылила бы?

– Или возникло бы взаимопонимание. Времени мало. Всего три дня. Ужасно, что мы не понимаем друг друга.

Я не сразу сообразил, что слова Фаустины и бородача полностью совпадают с их словами и движениями, слышанными и виденными восемь дней назад. Проклятое вечное возвращение. Но не целиком: моя клумба, в тот раз растоптанная Морелем, сейчас – просто неровная площадка с остатками мертвых цветов, примятых к земле.

Первое впечатление обрадовало меня. Я поверил, что и впрямь сделал открытие: наши поступки повторяются, повторяются непременно, незаметно для нас самих. Благоприятный случай позволил мне подметить эту закономерность. Нечасто приходится быть тайным свидетелем нескольких встреч одних и тех же людей. Сцены проигрываются снова и снова, как в театре.

Слушая Фаустину и бородача, я выправлял свои воспоминания о предыдущем их разговоре (записанном на память несколькими страницами выше). Я опасался, что это открытие вызвано ненадежностью моей памяти: реальную сцену я сравнивал с чем-то полузабытым, упрощенным. Затем, вдруг рассердившись, я стал подозревать, что все это – лишь представление, розыгрыш, злая шутка.

Здесь я должен кое-что объяснить. Никогда я не сомневался, что надо дать Фаустине почувствовать: главное – это мы, она и я (а бородач здесь ни при чем). И все-таки мне захотелось наказать этого типа, поиздеваться над ним, выставить в смешном свете. И вот случай представился. Как воспользоваться им? Я попытался что-нибудь придумать (хотя и кипел от ярости).

Замерев, я поджидал удобного момента, чтобы выйти ему навстречу. Бородач отправился за платком и сумкой Фаустины. Повернулся, пошел назад, помахивая ими и говоря на ходу (как в прошлый раз):

– Не принимайте всерьез того, что я сказал… Иногда я думаю…

Он был в нескольких метрах от Фаустины. Я решительно сделал шаг вперед, готовый ко всему, но ни к чему в особенности. Необдуманность – источник грубости. Я указал на

бородача, словно представляя его Фаустине, и прокричал:

– La femme a barbe, madame Faustine![14]

Неудачная шутка, было даже неясно, против кого она направлена.

Бородач продолжал идти к Фаустине и не столкнулся со мной лишь потому, что я резко отступил в сторону. Женщина разговаривала с ним как ни в чем не бывало; лицо ее было по-прежнему веселым и оживленным. Мне все еще страшно от ее спокойствия.

С того мгновения я терзался стыдом, мне хотелось упасть перед Фаустиной на колени. Я не мог дождаться захода солнца. И пошел на скалы в полном сознании своей вины; меня обуревало предчувствие, что, если все обернется хорошо, я устрою мелодраматическую сцену со слезными жалобами и мольбами. Но я ошибся. То, что происходит, – необъяснимо. На холме никого нет.

Увидев, что на холме нет ни души, я испугался: это могло означать, что мне расставили ловушку. Осторожно, по временам прячась и выжидая, я обошел весь музей. Но достаточно было бросить взгляд на мебель и стены, словно подернутые забвением, чтобы убедиться: людей здесь нет. Даже более того, люди здесь давно уже не живут. После почти двадцатидневного отсутствия трудно утверждать, что все предметы в доме со множеством комнат находятся именно там, где они были в момент твоего ухода; и все же я знаю – для меня это очевидно, – пятнадцать человек гостей и еще столько же прислуги не сдвинули с места ни одного стула, ни одной лампы или если что-то и сдвинули, то затем опять расставили все в том же порядке. Я осмотрел кухню, прачечную, увидел еду, которую оставил двадцать дней назад, белье (украденное из шкафа в музее), которое двадцать дней назад повесил сушиться; еда протухла, белье высохло, но их никто не касался.

Я принялся кричать на весь дом: «Фаустина! Фаустина!» Ответа не было.

Теперь я пытаюсь объяснить случившееся, сопоставляя два факта, вернее, факт и воспоминание. В последнее время я пробовал новые корни.

Кажется, в Мексике индейцам известно питье, настой из корней (это и есть воспоминание – или наоборот, нечто полузабытое), отведав который человек бредит в течение нескольких суток. Вывод (относительно пребывания на острове Фаустины и ее друзей) логически приемлем, однако лишь играя с собой, я мог бы принять его всерьез. Я и впрямь будто играю: только что я потерял Фаустину, а между тем рассматриваю эти проблемы с точки зрения какого-то гипотетического наблюдателя, какой-то третьей стороны.

Но тут же, ничему не веря, я вспомнил о своем положении беглеца, о могуществе правосудия. А вдруг это лишь чересчур хитрая тактика? Мне нельзя впадать в уныние, нельзя расхолаживаться, расслабляться – ведь может грозить катастрофа.

Я осмотрел часовню, подвалы. Перед сном решил обследовать весь остров. Поднялся на скалы, по травянистым склонам холма спустился на берег, даже забрался в топи (из чрезмерной осторожности). В конце концов пришлось признать, что назойливых гостей здесь нет.

Я вернулся в музей почти ночью. Мне было не по себе. Хотелось яркого света. Я перепробовал много выключателей – свет не горел. Очевидно, это подтверждает мою теорию о том, что мотор приводится в действие морскими приливами (через эту гидравлическую мельницу или вал, который находится в нижней части острова). Гости растратили всю энергию. После двух высоких приливов последовал период длительного затишья. Он окончился сегодня к вечеру, когда я входил в музей. Пришлось закрыть все окна и двери: казалось, ветер и море разнесут, разрушат остров. В первом подвале, среди огромных, мерцавших в полумраке моторов, я почувствовал, что больше не выдержу. Уже ни к чему собирать силы, нужные для самоубийства, ведь с исчезновением Фаустины я не могу даже ощутить анахронического удовлетворения от собственной смерти.

Просто так, чтобы оправдать свой спуск в подвал, я попытался привести в действие генератор. После слабых щелчков в доме вновь воцарялось спокойствие, а снаружи бушевала

14 Бородатая женщина, мадам Фаустина!

буря, колотя ветвями кедра по толстому стеклу.

Не помню, как я вышел. Поднявшись наверх, услышал стук мотора; постепенно свет залил весь дом, и я оказался перед двумя мужчинами: один был в белом, другой в зеленом (повар и слуга). Кто-то из них спросил (по-испански):

– Вы можете объяснить, почему он выбрал это место на краю света?

– Наверное, он знает, почему (тоже по-испански).

Я жадно вслушивался. Передо мной были другие люди. Новые привидения (порождения моего мозга, измученного лишениями, ядами и жарой, или этого адского острова) были иберийцами, и из их слов я заключил, что Фаустина не вернулась. Они продолжали спокойно разговаривать, словно не слышали моих шагов, словно меня здесь не было:

– Не отрицаю, но как это вздумалось Морелю?

Их прервал подбежавший человек – судя по всему, рассерженный до крайности:

– Сколько можно? Еда готова уже час назад.

Он пристально посмотрел на них (так пристально, что я спросил себя – не борется ли он с искушением взглянуть на меня) и убежал, кипя от злости. Повар поспешил за ним, а слуга бросился в противоположную сторону.

Я успокаивал себя, но никак не мог унять дрожь. Прозвучал гонг. Моя жизнь подошла к такой черте, когда дрогнули бы и герои. Думаю, любого бы сейчас охватило смятение. Мне становилось все страшнее. К счастью, это длилось недолго. Я вспомнил про гонг. Много раз я видел его в столовой. Мне хотелось убежать. Но понемногу я приходил в себя. Собственно, бежать невозможно. Буря, лодка, ночь… Даже если буря бы утихла, выйти в море в такую безлунную ночь – настоящее безумие. Кроме того, лодка долго не продержалась бы на воде… А нижняя часть острова наверняка затоплена. Далеко мне не убежать. Лучше послушать, последить за этими людьми, посмотреть, что будет.

Оглянувшись по сторонам, я спрятался, улыбаясь своей догадливости, в маленьком закутке под лестницей. Это (позже понял я) было очень глупо. Если бы меня стали искать, туда заглянули бы в первую очередь. Я ждал, ни о чем не думая, очень спокойный, но все еще растерянный. Передо мной возникли два вопроса. Как они прибыли на остров? В такую бурю ни один капитан не решился бы подойти к берегу, а предположить, что людей переправили сюда на лодках, – нелепо. Когда они прибыли? Ужин был готов уже давно, но когда я спустился в подвал четверть часа назад, на острове никого не было.

Они упомянули Мореля. Значит, речь шла о возвращении тех же людей. И возможно, подумал я (сердце мое заколотилось), что я опять увижу Фаустину.

Я выглянул из-под лестницы, полагая, что меня мгновенно схватят и все разом объяснится.

За дверью никого не было.

Поднявшись наверх, я прошел антресолями, ступил на один из четырех балконов, просунул голову между темными листьями и глиняным божеством и глянул вниз, в столовую.

За столом сидело более десятка человек. Мне почему-то подумалось, что это новозеландские или австралийские туристы; казалось, они расположились здесь прочно и не собираются уезжать.

Хорошо помню, как я оглядел всех собравшихся, прикинул, не туристы ли они, решил, что они не похожи на прежних, и только тогда вспомнил о Фаустине. Поискал ее глазами и сразу нашел. Меня приятно удивило, что ее соседом был не бородач; я тут же обрадовался: значит, его нет (и, еще не поверив этому, незамедлительно обнаружил его напротив Фаустины).

Шла ленивая беседа. Морель завел разговор о бессмертии. Говорили о путешествиях, о праздниках, о системах (питания). Фаустина и белокурая девушка обсудили тему лекарств. Алек – тщательно причесанный молодой человек восточного типа, с зелеными глазами – попробовал рассказать о своей торговле шерстью, но этим никто не заинтересовался, а он не настаивал. Морель принялся с энтузиазмом планировать, как построит на острове

футбольное поле или теннисный корт.

Теперь я смог получше разглядеть обитателей музея. Слева от Фаустины сидела женщина – Дора? – со светлыми волосами, уложенными мелкими волнами; она постоянно улыбалась, крупная ее голова была наклонена вперед, как у норовистой кобылки. По другую руку от Фаустины сидел смуглый молодой человек с живыми глазами, он хмурился, сдвигая густые брови. Дальше – высокая плоскогрудая девушка с брезгливым выражением лица; в глаза бросались ее чрезвычайно длинные руки. Эту девушку звали Ирен. Дальше та, что сказала «сейчас не время для историй о привидениях» на сумеречном лугу, когда я поднялся на холм. Других я не помню. Маленьким я рассматривал книги с картинками и играл в открытия: чем дольше смотришь на картинку, тем больше находишь в ней новых предметов, и так без конца. Какое-то время я раздосадованно глядел на панели Цугухару с изображениями женщин, тигров или кошек.

Сотрапезники перешли в холл. Осторожно, замирая от страха – сколько у меня врагов в гостиной, в подвале (слуги), – я спустился по узкой лестнице к двери, скрытой ширмами. Неподалеку я увидел девушку по имени Ирен, сидевшую с вязанием в руках возле алебастрового светильника, она беседовала с другой женщиной; я поискал глазами остальных и, рискованно высунувшись, увидел Мореля – вместе с пятью гостями он играл в карты; женщина, сидевшая спиной ко мне, была Фаустина; под небольшим столиком ноги игравших почти соприкасались, и я провел несколько минут – а может, и довольно долго, – забыв обо всем на свете и пытаясь разглядеть, трогают ли друг друга ногами Морель и Фаустина. Затем это малопочтенное занятие сменилось ужасом: на меня уставился краснолицый слуга с круглыми глазами; он вошел в гостиную. Я услышал шаги и бросился прочь, притаился между двумя рядами алебастровых колонн в круглом зале, над аквариумом. Под моими ногами плавали точно такие же рыбы, каких я выудил дохлыми сразу по приезде.

Уже ничего не боясь, я подошел к двери. Фаустина, Дора – ее соседка по столу – и Алек поднимались по лестнице. Фаустина двигалась с заученной медлительностью. Ради этого узкого тела, слишком длинных ног, бессмысленной чувственности я рисковал покоем, вселенной, воспоминаниями, переживаниями, обретенным богатством – сведениями о нраве приливов и нескольких безобидных корнях.

Я последовал за ними. Внезапно они вошли в одну из комнат. Дверь напротив была приоткрыта, за ней оказалась пустая спальня, где горел свет. Я осторожно вошел. Конечно, кто-то, выходя, забыл повернуть выключатель. Вид постели и туалетного столика, отсутствие книг, одежды, малейшего беспорядка доказывали, что здесь никто не живет.

Когда прочие обитатели музея отправились по своим комнатам, я забеспокоился. Услышав шаги на лестнице, захотел потушить свет, но безуспешно: выключатель заело. Я не стал дальше пробовать. Если бы в пустой комнате вдруг погас свет, это, пожалуй, привлекло бы чье-нибудь внимание.

Не будь этого выключателя, я, наверное, улегся бы спать. Меня клонило в сон, и этому способствовали усталость, гаснувшие одна за другой полоски света под дверьми, успокоенность оттого, что большеголовая женщина все еще была в комнате Фаустины. Я подумал, что если кто-то пойдет по коридору, он непременно заглянет ко мне, чтобы потушить свет (остальная часть музея была уже погружена в темноту). Это, наверное, неизбежно, но не слишком опасно. Убедившись, что выключатель испорчен, человек сразу же уйдет, чтобы не мешать другим. Я мог бы укрыться без особой тщательности.

Пока я размышлял, в дверях показалась Дора. Глаза ее скользнули по мне. Она ушла, так и не попробовав потушить свет.

Я похолодел. Решив выйти отсюда, я мысленно представил себе весь дом – где бы спрятаться ненадежнее? Не хотелось оставлять эту комнату, из которой я мог следить за дверью Фаустины. Я уселся на кровать и заснул. Во сне я увидел Фаустину. Она вошла в комнату. Постояла совсем рядом. Я проснулся. Свет потух. Не шевелясь, стараясь не дышать, я пытался привыкнуть к темноте, но испуг не проходил.

Встав с постели, я вышел в коридор, прислушался к тишине, наступившей вслед за бурей; ее ничто не нарушало.

Я тихо двинулся по коридору, ожидая, что вот-вот откроется какая-нибудь дверь и меня схватят сильные руки, я услышу безжалостный, насмешливый голос. Странный мир, в котором я так тревожно жил последние дни, мои предположения, мое томление, Фаустина – все это был лишь скользкий путь, ведущий к тюрьме, к эшафоту. В темноте я медленно спустился по лестнице. Подошел к одной из дверей, попробовал ее открыть – она была заперта; я даже не смог повернуть ручку (мне встречались такие дверные замки, которые не дают ручке опуститься; но мне непонятна и конструкция окон: задвижки не стронуть с места, а иных запоров нет). Я убеждался, что выйти невозможно, нервничал все больше (и от бессилия, и от темноты) и был не в силах справиться даже с внутренними дверьми. На лестнице для прислуги послышались шаги. Я заторопился и не сумел выйти из холла. Бесшумно, держась вдоль стены, я дошел до одного из алебастровых светильников и с большим трудом, рискуя упасть, забрался внутрь огромной чаши.

Долгое время я беспокойно ворочался между скользкой поверхностью колпака и хрупкой лампочкой. Я спрашивал себя, осталась ли Фаустина наедине с Алеком, ушел ли кто-нибудь из них вместе с Дорой, или раньше Доры, или позже.

Утром меня разбудили голоса (я был слишком слаб и затуманен сном, чтобы вслушаться в разговор). Потом все затихло.

Хотелось выбраться из музея. Я начал приподниматься, боясь поскользнуться и разбить огромную лампочку, боясь, что кто-нибудь снаружи увидит мою голову. Наконец с неимоверными усилиями я спустился на пол. Чтобы немного успокоиться, спрятался за шторами. От слабости я не мог отодвинуть их, они казались твердыми и тяжелыми, точно складки каменного покрывала на могильном памятнике. Перед глазами, мучительно дразня, возникли пышные булочки и другая еда, существующая в цивилизованном мире; наверняка в буфетной ее предостаточно. Порой я словно терял сознание, в иные минуты мне хотелось смеяться. Наконец я смело двинулся в прихожую, к лестнице. Дверь была открыта. Кругом никого. Я прошел в буфетную, восхищаясь собственной смелостью. Послышались шаги. Я попытался открыть наружную дверь и опять схватился за одну из этих неподвижных ручек. Кто-то спускался по лестнице для прислуги. Я бросился к главному входу. Сквозь открытую дверь я увидел край плетеного стула и чьи-то скрещенные ноги. Я снова вернулся к лестнице, там тоже слышались шаги. В столовой уже были люди. Я вбежал в холл, заметил раскрытое окно и почти одновременно – Ирен и ту женщину, что говорила о привидениях, а затем и молодого человека с густыми бровями; он шел ко мне с открытой книгой в руках и декламировал французские стихи. Я остановился, потом, напрягшись, проскользнул между ними, чуть их не задев, выпрыгнул в окно и, преодолевая боль в ногах (до газона не меньше трех метров), помчался вниз по склону, то и дело спотыкаясь и падая; назад я не глядел.

Я приготовил себе немного еды. Жадно набросился на нее, но аппетит быстро пропал.

Сейчас у меня почти ничего не болит. Я спокоен. Думаю, хотя это и невероятно, что в музее меня не заметили. Прошел целый день, а за мной никто не явился. Прямо страшно поверить в такую удачу.

У меня есть факт, который поможет читателям определить время второго появления пришельцев: на следующий день на небе засияли два солнца и две луны. Конечно, то могло быть явлением сугубо местным, однако более вероятно, что этот мираж вызван особым состоянием луны, солнца, моря и воздуха и, наверное, виден повсюду; виден и в Рабауле. Я заметил, что второе солнце – очевидно, отражение первого – сияет еще свирепее и, похоже, с позавчерашнего и до вчерашнего дня температура стремительно поднялась. Кажется, будто новое солнце превратило весну в иссушающее лето. Ночи очень светлы: в воздухе словно разливается отсвет северного сияния. Но я предполагаю, что две луны и два солнца не представляют большого интереса, без сомнения, о них уже знают повсюду – люди или видели их собственными глазами, или прочитали сообщения более полные и научно обоснованные. Я упоминаю о них не оттого, что считаю явление любопытным или

поэтичным, а просто затем, чтобы мои читатели, получающие газеты и отмечающие дни рождения, смогли бы датировать эти страницы.

Две луны светят с небес впервые. Но два солнца уже известны. О них рассказывает Цицерон в труде «De Natura Deorum»[15]: «Turn sole, quod, ut epatre audivi, Tuditano et Aquilio consulibus evenerat»[16].

Думаю, что процитировал точно[17]. Учитель Лобре в колледже Миранды заставил нас выучить наизусть первые пять страниц второй книги и последние три страницы третьей. Больше я ничего не знаю из этого сочинения.

За мной никто не явился. Иногда я вижу пришельцев на верху холма. Быть может, из-за какого-то душевного несовершенства (и туч комаров) я начал тосковать по вчерашнему вечеру, когда жил без надежды на встречу с Фаустиной, а не в этой печали; я скучаю по тому мигу, когда вновь почувствовал себя хозяином безлюдного музея, властителем одиночества.

Теперь я вспомнил, о чем думал позапрошлым вечером в ярко освещенной комнате. Я думал о природе пришельцев, об отношениях, связавших меня с ними.

Я попытался выдвинуть несколько объяснений.

Быть может, я заразился этой пресловутой чумой, она влияет на воображение: я представляю себе людей, музыку, Фаустину, а тело мое тем временем покрывается страшными язвами, предвестниками смерти, которые я не вижу, потому что мой мозг затуманен.

Быть может, вредный воздух низины и нехватка питания сделали меня невидимым. Пришельцы просто смотрят сквозь меня (или их умение владеть собой превосходит все границы; втайне радуясь собственной решимости, я отмел всякие предположения об ухищренном спектакле, разыгранном ради моей поимки). Возражение: птицы, ящерицы, крысы, комары прекрасно меня видят.

Мне подумалось также (впрочем, я и сам не очень в это верю), что пришельцы – существа иной природы, с другой планеты, с глазами, которые не служат для зрения, с ушами, не созданными для слуха. Я вспомнил, что они разговаривают на правильном французском, и развил свою нелепую теорию дальше: может быть, французский язык существует параллельно в обоих мирах, но используется в различных целях.

Четвертая гипотеза возникла из-за моего пристрастия рассказывать сны. Прошлой ночью мне приснилось вот что:

Я в сумасшедшем доме. Туда отвезли меня родные после долгой беседы с врачом (или с судьей?). Морель был там директором. В какие-то мгновения я знал, что нахожусь на острове, в другие верил, что я среди умалишенных; потом я сам был директором этого заведения.

Вовсе не обязательно, впрочем, принимать сон за явь, а явь – за безумие.

Пятая гипотеза: пришельцы – компания умерших друзей, я – странник на манер Данте или Сведенборга, а может, тоже мертвец, только иной касты, в иной миг своей метаморфозы; этот остров – чистилище или небо для тех мертвецов (значит, должны быть и другие небеса – если бы существовало одно на всех и нас снова ждали бы там прелестная супруга и литературные среды, многие давно бы перестали умирать).

Теперь я понимаю, почему на страницах романов возникают плаксивые, стенающие привидения. Мертвые продолжают пребывать среди живых. Им трудно изменить свои

15 «О природе богов».

16 «То солнце, которое, как я слышал от отца, видели во времена консульства Тудитана и Аквилия».

17 Он ошибается. Им опущено самое важное слово *geminate* (от geminatus – двойной, парный, подобный). Фраза гласит: «…turn sole geminate, quod, ut e patre audivi, Tuditano et Aquilio consulibus evenerat; quo quidem anno P. Africanus sol alter extinctus est…» Вот ее перевод: «...оба солнца, которые, как я слышал от отца, видели во времена консульства Тудитана и Аквилия; в тот же год, когда исчезло то, второе солнце Публия Африканского…» (183 г. н. э.).

привычки, отказаться от сигар, от славы сердцееда. Мне делается страшно от мысли (подумал я, словно глядя на себя со стороны), что я невидим; страшно, что Фаустина, такая близкая, живет на другой планете (имя Фаустины повергло меня в печаль); но скорее всего, шведский ученый и я мертв, я пребываю в ином измерении (и увижу Фаустину, увижу, как она уезжает, не замечая меня, и мои жесты, мольбы, атаки – все будет впустую); словом, каждый из вариантов сулит крах надежд.

Увлеченно размышлял я на эти темы. Собрал доказательства того, что мои отношения с пришельцами – отношения между существами разных миров. На этом острове могла произойти катастрофа, которую не успели заметить здешние мертвецы (я и населявшие его животные), затем появились пришельцы.

Значит, я мертвец! Меня несказанно обрадовала эта остроумная мысль (обрадовала тщеславно, как удачная литературная находка).

Я вновь оглянулся на свою жизнь. Безрадостное детство, игры на Пасео-дель-Параисо; дни, предшествовавшие моему аресту – такие чужие, словно их прожил не я; долгие скитания; месяцы, проведенные на этом острове. Смерти дважды представлялся случай оборвать мою жизнь. Сначала – в дни перед приходом полиции в розовый зловонный пансион на Оэсте, 11, против «Пасторы», в мою душную комнату (тогда процесс проходил бы уже перед лицом верховного судии, а бегство и странствия превратились бы в путь на небо, в ад или в чистилище, в зависимости от его решения…). Был у смерти и второй шанс – когда я плыл в лодке. Солнце разламывало мне череп, и хотя я доплыл, в помешательство я впал, наверное, намного раньше. Мало что помню я об этих днях, за исключением дьявольского, ослепительного сияния, качки, плеска воды и мук, превосходивших человеческие силы. Я так долго думал об этом, что все мне слегка наскучило, потому я продолжал рассуждать уже менее логично: я не был мертв, пока не появились пришельцы, в одиночестве нельзя быть мертвецом. Чтобы воскреснуть, надо уничтожить свидетелей. Это будет просто. Я не существую, и они не заподозрят, что их уже нет.

Думал я и о другом, строя планы, как овладеть Фаустиной: невероятное, мгновенное, словно приснившееся насилие будет иметь значение только для меня.

Такие пустые, ничего не объяснявшие объяснения приходили мне на ум в особо тревожные минуты. Человек не выносит долгого напряжения – так же, как удовольствие длится лишь один миг.

Это ад. Сияние двух солнц нестерпимо. Мне нехорошо. Я съел какие-то клубни, похожие на репу, сплошные волокна.

Солнца пылали, стоя одно выше другого, и вдруг (наверное, я все время смотрел на море) я увидел судно – оно покачивалось среди рифов очень близко от берега. Казалось, я спал (под этим двойным солнцем даже мухи как сонные) и внезапно проснулся, через несколько секунд или несколько часов, не заметив ни того, ни другого. Это был белый грузовой пароход с высоченной желтой трубой (как у пароходов компании «Ройэл мейл» и «Пасифик лайн»). Вот мой конец, возмущенно подумал я. Ясно, они приехали, чтобы изучить остров. Пароход дал три гудка. Пришельцы высыпали на обрыв. Женщины махали платками.

Море было неподвижно. С парохода спустили лодку. Почти час не могли запустить мотор. На остров высадился моряк в офицерской форме, должно быть, капитан. Остальные вернулись на борт.

Капитан взошел на холм. Меня охватило неудержимое любопытство, и, несмотря на боли, несмотря на съеденные клубни, камнем лежащие в желудке, я поднялся с другой стороны. Капитан почтительно приветствовал островитян. Его спросили, как прошло путешествие, все ли он достал в Рабауле. Я стоял за статуей умирающего феникса, не боясь, что меня увидят (похоже, прятаться бесполезно). Морель подвел моряка к скамье. Они сели и заговорили.

Я уже понял, что это за судно. Оно принадлежит гостям или Морелю и пришло, чтобы их забрать.

«У меня есть три возможности, – подумал я. – Овладеть ею силой, проникнуть на борт, дать ей уехать».

Если я овладею Фаустиной, ее будут искать и рано или поздно найдут. Неужели на всем острове нет места, где бы ее спрятать? Я помню, что, заставляя себя думать, морщил лицо, как от боли.

Еще можно вывести ее из комнаты вскоре после полуночи и уплыть на веслах – в той же лодке, на которой я приплыл из Рабаула. Но куда? Повторится ли чудо, удастся ли нам доплыть? Как мне ориентироваться? Пуститься по морю наугад вместе с Фаустиной – стоит ли это долгих лишений, которые придется вытерпеть в лодке посреди океана? А может, и коротких – вполне вероятно, что, отплыв совсем недалеко, мы пойдем ко дну. Если мне удастся проникнуть на пароход, меня найдут. Конечно, я заговорю, буду просить, чтобы позвали Фаустину или Мореля, объясню им мое положение. И может быть – если моя история покажется им подозрительной, – я еще успею убить себя или сделать так, чтобы меня убили, прежде чем мы придем в первый порт, где есть тюрьма. «Надо на что-то решиться», – подумал я. Высокий плотный человек с женственными манерами – на его плохо выбритом красном лице торчала черная щетина – подошел к Морелю и сказал:

– Уже поздно. Надо успеть все подготовить.

– Минутку, – ответил Морель.

Капитан встал, Морель, выпрямившись, торопливо договаривал что-то, потом тоже поднялся, хлопнул капитана по спине и, повернувшись к высокому – капитан тем временем взял под козырек, – сказал:

– Пошли?

Высокий, улыбнувшись, взглянул на черноволосого молодого человека с густыми бровями и повторил:

– Пошли?

Молодой человек кивнул.

Втроем они поспешили к музею, не обращая внимания на дам. Капитан подошел к женщинам, вежливо улыбаясь, и все медленно последовали за тремя мужчинами.

Я не знал, что делать. Сцена, хоть и нелепая, встревожила меня. К чему им надо готовиться? Но хватит волнений. Пусть они уплывают отсюда вместе с Фаустиной; все равно я буду пребывать в бездействии, слегка огорченный, но уже ничего не опасаясь.

К счастью, время отъезда еще не настало. Вдалеке мелькнули бородка и тощие ноги Мореля. Фаустина, Дора и женщина, говорившая о привидениях, Алек и трое мужчин, бывших здесь чуть раньше, в купальных костюмах спускались к бассейну. Я приблизился, перебегая от куста к кусту. Женщины, семеня, со смехом трусили вниз, мужчины прыгали и растирались, словно затем, чтобы согреться – это необъяснимо сейчас, когда светят два солнца. Я предвидел, что они будут разочарованы, глянув в бассейн. С тех пор, как я не меняю воду, он непригоден для купания (по крайней мере, нормальных людей): вода в нем зеленая, тусклая, в пене, покрыта листьями водяных растений, чудовищно разросшихся за эти дни; там плавают мертвые птицы и наверняка – живые лягушки и змеи. Полуобнаженная, Фаустина безмерно хороша. Она шумно и чуть глуповато радуется, подобно всем, кто купается на людях. Фаустина первая нырнула в бассейн. Я слышал, как купальщики плещутся и смеются.

Сначала вышли Дора и женщина постарше. Пожилая дама взмахнула рукой и сосчитала:

– Раз, два, три.

Должно быть, все пустились наперегонки. Мужчины вернулись, тяжело дыша. Фаустина еще оставалась в бассейне.

Тем временем моряки высадились на берег и пошли осматривать остров. Я спрятался среди пальм.

Расскажу по порядку обо всем, что я видел и слышал вчера вечером и сегодня утром, – о событиях немыслимых, невероятных; наверное, чтобы выдумать их, судьбе пришлось

немало потрудиться… Кажется, в действительности происходило совсем не то, что было описано на предыдущих страницах; кажется, мое положение иное, чем я думал.

Когда купальщики пошли переодеваться, я решил наблюдать за ними день и ночь. Однако вскоре убедил себя, что это ни к чему. Я уже уходил, и тут появился черноволосый молодой человек с густыми бровями. Мгновение спустя я заметил Мореля: он следил за молодым человеком, осторожно выглядывая из окна. Затем спустился по лестнице. Я был недалеко и слышал их разговор.

– Мне не хотелось говорить, пока здесь были люди. Я хочу вам кое-что открыть – вам и еще немногим.

– Пожалуйста.

– Не здесь, – сказал Морель, недоверчиво озираясь на деревья. – Сегодня вечером. Когда все уйдут, останьтесь.

– Чтобы клевать носом?

– Так даже лучше. Чем позже, тем лучше. Но главное, будьте осторожны. Я не хочу, чтобы все стало известно женщинам. От истерик у меня самого начинается истерика. Прощайте.

Он почти бегом пустился к дому. Перед тем, как войти, оглянулся. Молодой человек пошел следом, но Морель замахал руками, останавливая его. Тогда он изменил направление и стал расхаживать взад и вперед, положив руки в карманы и небрежно насвистывая.

Я попытался обдумать то, что видел, но без особой охоты. Мне было тревожно.

Прошло примерно четверть часа.

Другой бородач, седой, толстый, которого я здесь еще не упоминал, вышел на лестницу, огляделся, посмотрел вдаль. Спустившись по лестнице, он застыл перед домом, похоже чем-то напуганный.

Морель вернулся, подошел к нему, они недолго поговорили. Я сумел расслышать лишь несколько слов:

– …если бы я сказал вам, что все ваши действия и слова записываются?

– Мне было бы все равно.

Я спросил себя, не обнаружили ли они мой дневник, и понял, что надо держаться настороже, победить искушение отдохнуть, отвлечься! Меня не должны застичь врасплох. Толстяк опять остался один, видно было, что он растерян. Морель появился с Алеком (молодым человеком восточного типа, с зелеными глазами). Они удалились втроем. Из музея вышли мужчины, слуги вынесли плетеные стулья, расставили их в тени хлебного дерева, большого и больного (я видел отдельные, не такие большие, экземпляры в старой усадьбе, в Лос-Текесе). Дамы расселись на стульях, мужчины устроились на траве. Я припомнил вечера на родине.

Фаустина направилась к скалам. Меня уже сердит, как люблю я эту женщину (и смешит: ведь мы ни разу не разговаривали). Она была в теннисном костюме, с фиолетовым платком на голове. Как буду я вспоминать этот платок, когда она уедет!

Мне захотелось предложить себя в спутники, поднести ей сумку или плед. Я шел за ней, держась поодаль, видел, как она уронила сумку на камень, расстелила плед, села и замерла, глядя на море или на вечернее небо, передавая им свой покой.

Мне представлялась последняя возможность попытать счастья. Я мог броситься на колени, признаться в своей любви, признаться во всем. Но я передумал. Это показалось неуместным. Конечно, женщины принимают с полной естественностью любой знак внимания. Но пусть уж лучше все разъяснится само собой. Всегда подозрительным кажется незнакомец, который вдруг, ни с того ни с сего, принимается рассказывать нам свою жизнь, говорит, что сидел в тюрьме, осужден на пожизненное заключение и что мы – смысл его жизни. Мы боимся, что все это – лишь уловка, чтобы продать нам узорную ручку, на которой выгравировано: «Боливар. 1783-1830», или бутылку с корабликом внутри. Другой способ – заговорить с ней, глядя на море, точно задумчивый и неопасный сумасшедший; обсудить тему двух солнц, отметить нашу общую любовь к закатам; немного подождать ее вопросов; в

любом случае упомянуть, что я писатель и мне всегда хотелось жить на безлюдном острове; признаться, как рассердил меня их приезд; рассказать, что пришлось перебраться в сырую часть острова (это позволит занимательно описать низину и связанные с ней бедствия), и так подойти к самому главному: теперь я боюсь, что все уедут и сумерки перестанут приносить мне уже привычную радость – свидание с нею.

Фаустина поднялась. Я разволновался (она точно услышала мои мысли). Женщина пошла за книгой, которая наполовину выглядывала из сумки, лежавшей в стороне, метрах в пяти. Потом вернулась, села. Открыла книгу, положила руку на страницу и словно задремала, любуясь закатом.

Когда зашло одно из солнц, Фаустина встала. Я пошел за ней, затем побежал, бросился на колени и почти прокричал:

– Фаустина, я вас люблю.

Я поступил так, решив, что лучше всего поддаться вдохновению, действовать под влиянием минуты. Результат мне неизвестен. Послышались шаги, на меня упала темная тень. Я спрятался за пальмой. В ушах так стучало, что я почти ничего не слышал. Морель сказал, что должен поговорить с ней. Фаустина ответила:

– Хорошо, идемте в музей. (Это я расслышал ясно.)

Они заспорили.

– Я хочу воспользоваться случаем, – возражал Морель, – сейчас, пока мы вдали от музея, вдали от взглядов наших друзей.

Я услышал также слова «предупредить тебя», «ты не такая, как все», «ты умеешь владеть собой».

Могу подтвердить, что Фаустина наотрез отказалась остаться. Морель смирился.

– Сегодня вечером, когда все уйдут, будь добра подождать.

Они шли между рядом пальм и стеной музея. Морель говорил, не переставая, и часто жестикулировал. Раз, взмахнув рукой, он взял Фаустину под локоть. Дальше они шли молча.

Увидев, как они исчезли в дверях музея, я подумал, что надо приготовить себе поесть: ночью я должен быть в форме, чтобы следить за происходящим.

Звуки «Чая вдвоем» и «Валенсии» разносились по острову до рассвета. Несмотря на свои намерения, я поел мало. Не было сил смотреть на танцующих и в то же время перебирать и пробовать тягучие листья, корни, отдающие землей, клубни, похожие на мотки толстых и твердых нитей; я решил пойти в музей и поискать хлеб и другие настоящие продукты.

Я вошел в полночь через черный ход. В буфетной, в чулане – повсюду были слуги. Ну что же, я спрячусь и подожду, пока все разойдутся по комнатам. И тогда я, быть может, услышу, что откроет Морель Фаустине, густобровому молодому человеку, толстяку, зеленоглазому Алеку. Потом стяну что-нибудь из съестного и поищу способ выйти.

В сущности, заявление Мореля меня особенно не интересовало. Я страдал оттого, что у берега стоял пароход, что отъезд Фаустины близок.

Проходя через холл, я увидел призрак трактата Белидора – книги, которую унес с собой две недели назад: она лежала на том же столике зеленого мрамора, на том же краю зеленого мраморного столика. Я ощупал карман, вытащил книгу, сравнил: то были не два экземпляра одной книги, а один и тот же экземпляр, повторенный дважды; синие чернила слегка расплылись, обволакивая облаком слово Perse, в нижнем наружном углу была косая царапина… Речь идет о внешнем сходстве. Я не мог даже дотронуться до книги, лежавшей на столе, и поспешно спрятался, чтобы меня не обнаружили (сначала несколько женщин, потом Морель). Проскользнув через залу с аквариумом, я притаился в зеленой комнате, за ширмой (она была сложена домиком). Сквозь щель ширмы мне была видна зала с аквариумом. Морель отдавал приказания:

– Поставьте сюда стол, а рядом стул.

Другие стулья расставили в несколько рядов перед столом, как в лекционной аудитории.

Было очень поздно, когда в залу потянулись люди. Собрались многие. Слышался шум, удивленные вопросы, кое-кто одобрительно улыбался, но в целом здесь царил усталый покой.

– Присутствовать должны все, – сказал Морель. – Пока все не придут, я не начну.

– Нет Джейн.

– Нет Джейн Грей.

– Только этого не хватало.

– Надо за ней сходить.

– Кто сумеет сейчас вытащить ее из постели?

– Без нее нельзя.

– Она спит.

– Без нее я не начну.

– Я схожу за ней, – сказала Дора.

– Я тебя провожу, – предложил густобровый молодой человек.

Этот разговор я хотел записать дословно. Если теперь он выглядит искусственно, виновата бумага или память. Разговор звучал абсолютно естественно. Глядя на этих людей, слушая их слова, нельзя было ожидать событий магических, отрицающих реальность, которые произошли чуть погодя (хотя все и совершалось над освещенным аквариумом, над хвостатыми, бугристыми рыбами, среди леса черных колонн).

Морель обратился к кому-то, кого я не видел:

– Поищите его везде. Я видел, как он входил сюда, правда, уже давно.

О ком они говорили? Мне подумалось тогда, что очень скоро поведение пришельцев наконец перестанет быть тайной.

– Мы все обошли, – отозвался грубый голос.

– Не важно. Ступайте и найдите его, – ответил Морель.

Похоже, я в ловушке. Меня подмывало выйти, но я сдержался.

Припомнил я и то, что зеркальные комнаты были адом, где совершались чудовищные пытки. Мне стало жарко.

Вернулись Дора и молодой человек вместе с пожилой, явно нетрезвой женщиной (я видел ее у бассейна). Появились и два субъекта, очевидно слуги, предложившие свою помощь; один из них сказал Морелю:

– Это невозможно. (Я узнал грубый голос, слышанный незадолго до того.)

Дора крикнула Морелю:

– Хейнс спит в комнате Фаустины. Его оттуда не выволочь.

Значит, они говорили о Хейнсе? Я не связал слова Доры с репликами Мореля и мужчин. Кого-то искали, кого-то надо было найти, и я испуганно видел во всем намеки и угрозы. Теперь я думаю, что, скорее всего, эти люди никогда не обращали на меня внимания… Больше того, теперь я знаю, что они не могут меня искать.

Это правда? Разве человек в своем уме способен поверить в то, что я слышал прошлой ночью, в то, что я, как мне думается, знаю? Посоветовал бы он не видеть во всем хитрые маневры, чтобы меня изловить, поскорее забыть этот кошмар?

А если это маневры – зачем они так сложны? Почему им прямо не схватить меня? Разве не безумие – устраивать такое трудоемкое представление? Жизнь приучила нас, что все в мире совершается более или менее последовательно, связно. А сейчас действительность предстала передо мной сдвинутой, нереальной. Когда человек пробуждается или умирает, ему не сразу удается отбросить страшные сновидения, жизненные заботы и привычки.

Теперь мне трудно будет отказаться от привычки бояться этих людей.

Перед Морелем лежали листки тонкой желтой бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Он достал их из плоской деревянной чаши, красовавшейся на столе. Там же было множество писем, приколотых к вырезкам с объявлениями из журналов «Яхтинг» и «Мотор боутинг». В письмах спрашивалось о ценах на старые суда, об условиях продажи, сообщалось, что покупатель хочет приехать и посмотреть их. Некоторые из этих писем я видел.

– Пусть Хейнс спит, – сказал Морель. – Он слишком тяжел, не будем и тащить его сюда, иначе никогда не начнем.

Морель уперся руками в стол и взволнованно заговорил:

– Я должен сделать заявление. – Он нервно улыбнулся. – Ничего страшного. Чтобы не допускать неточностей, я решил сначала все написать. Выслушайте меня, пожалуйста.

Морель принялся читать желтые листки, которые я вкладываю в папку. Сегодня утром, убегая из музея, я заметил их на столе и прихватил с собой *(Для большей ясности мы сочли нужным заключить текст, отпечатанный на этих страницах, в кавычки; вставки, идущие без кавычек, – это примечания на полях, сделанные карандашом, тем же почерком, которым написан весь дневник* ***(Примеч. издателя)*** *)* .

> «Вы должны простить мне эту сцену, поначалу скучную, затем страшную. Мы забудем о ней. Думая о приятной неделе, прожитой здесь, не станем придавать ей особого значения.
>
> Поначалу я хотел ничего вам не говорить. Вам не пришлось бы пережить вполне естественное беспокойство. Я один рассчитал бы за вас все, вплоть до последней минуты, во избежание протестов и бунтов. Но вы мои друзья, вы имеете право знать».

Он замолчал, обводя всех глазами, руки его подрагивали, губы кривились в нервной улыбке; потом он продолжил с новой силой:

> «Моя вина состоит в том, что я фотографировал вас без вашего позволения. Конечно, это не просто фотография, это мое последнее изобретение. В фотографии мы будем жить вечно. Представьте себе сцену, на которой полностью воспроизводится наша жизнь в течение семи дней. Мы актеры. Все наши действия записываются».

– Какое бесстыдство! – крикнул черноусый мужчина с торчащими зубами.

– Надеюсь, это шутка, – сказала Дора.

Фаустина не улыбалась. Казалось, она возмущена.

> «Я мог бы сказать вам по приезде: мы будем жить для вечности. И, наверное, мы все бы испортили, изо всех сил стараясь непрерывно веселиться. Но я подумал – любая неделя, проведенная нами вместе, будет приятной, если не чувствовать себя обязанными непременно проводить время хорошо. Разве не так?
>
> И вот я дал вам вечную беззаботность.
>
> Разумеется, людские творения несовершенны. Кое-кого из друзей нет с нами. Клод прислал извинения: он работает над гипотезой в форме то ли романа, то ли теологического трактата о несогласии Бога и личности; гипотеза эта, как он считает, принесет ему бессмертие, и он не хочет прерываться. Мадлен уже два года никуда не выезжает, боясь за свое здоровье. Леклерк договорился с Дэвисами поехать во Флориду».

– А бедняга Чарли, конечно… – прибавил он, помолчав.

По тону этих слов, по ударению на слове «бедняга», по торжественному молчанию, по тому, как кое-кто тут же заерзал, двинул стулом, я заключил, что этот Чарли мертв, точнее, умер совсем недавно. Морель продолжил, словно спеша развеять общую грусть:

– Но он со мной. Если кто-то пожелает увидеть его, я могу показать. То был один из моих первых опытов, увенчавшихся успехом.

Он остановился. Казалось, он заметил, как настроение в зале снова переменилось (сперва слушателям, пребывавшим в приятной скуке, сделалось не по себе, они слегка осуждали его за допущенную бестактность: в шутливой речи вдруг напомнить о мертвеце; теперь они были в недоумении, почти в ужасе).

Морель поспешно вернулся к желтым листкам.

«Уже давно мои мысли были заняты двумя важнейшими предметами – моим изобретением и…»

Сейчас между Морелем и аудиторией опять установилась симпатия.

«Например, я разрезаю страницы книги, гуляю, набиваю трубку и рисую себе счастливую жизнь с…»

Каждая пауза вызывала бурные аплодисменты.

«Когда я закончил свое изобретение, мне захотелось (сперва это была просто фантазия, потом – захватывающий проект) навечно воплотить в жизнь свою сентиментальную мечту…

Мысль о том, что я наделен высшим даром, и уверенность, что легче заставить женщину полюбить себя, чем создать рай, побудили меня действовать без долгих размышлений. И вот надежды внушить ей любовь остались далеко позади, я уже не пользуюсь ее доверием и дружбой; я лишен точки опоры, у меня нет желания жить.

Следовало выработать тактику. Набросать планы».

Морель изменил тон, как бы извиняясь за излишнюю серьезность своих слов.

«Поначалу я думал или убедить ее приехать сюда вдвоем (но это было невозможно: я не видел ее наедине с тех пор, как признался в своей страсти), или попытаться овладеть ею силой (тогда мы ссорились бы вечно).

Заметьте, на этот раз слово «вечно» – не преувеличение».

Морель очень изменил этот абзац. Кажется, он сказал, что подумывал овладеть ею силой, и потом стал шутить.

«Теперь я объясню вам суть моего изобретения».

До сих пор рассказ Мореля был крайне неприятным и беспорядочным. Человек науки, но притом излишне вздорный и суетный, Морель выражается точнее, когда оставляет сантименты и переходит к своим любимым трубам и проводам; от его стиля по-прежнему коробит, речь пересыпана техническими словами, он тщетно пытается использовать некие ораторские приемы, но излагает мысли намного яснее. Пусть читатель судит сам:

«Какова функция радиотелефона? Восполнить – в плане звуковом – чье-то отсутствие: при помощи передатчиков и приемников мы можем из этой комнаты вести разговор с Мадлен, хотя она находится от нас на расстоянии более двадцати тысяч километров, в пригороде Квебека. Того же достигает и телевидение – в плане зрительном. Меняя частоту колебаний, то ускоряя, то замедляя их, можно распространить этот эффект на другие органы чувств, – собственно, на все.

С научной точки зрения способы восполнить отсутствие можно было до недавнего времени сгруппировать более или менее так:

В плане оптическом: телевидение, кинематограф, фотография.

В плане звуковом: радиотелефон, патефон, телефон».

Мне кажется, что он умышленно не упоминает о телеграфе. Морель – автор брошюры «Que nous envoie Dieu?»[18]; на этот вопрос он отвечает: «Un peintre inutile et une invention

18 «Что нам посылает Бог?».

indiscrete» *(«Бесполезную живопись и нескромное изобретение» – (фр). Однако достоинства иных картин бесспорны.* ***(Примеч. издателя.)*** *)* .

«Заключение. До недавнего времени наука ограничивалась тем, что помогала слуху и зрению победить время и пространство. Заслуга первой части моих работ состоит в том, что я преодолел инерцию, уже обросшую традициями, и логически, следуя почти параллельным путем, развил рассуждения и уроки тех ученых, которые усовершенствовали мир, подарив ему упомянутые изобретения.

Я хочу подчеркнуть, что глубоко благодарен тем промышленникам, – как французским («Сосьете Клюни»), так и швейцарским («Швахтер» в Санкт-Галлене), – которые поняли важность моих исследований и дали мне возможность работать в их закрытых лабораториях.

К моим коллегам я не могу испытывать тех же чувств.

Когда я поехал в Голландию, чтобы переговорить с выдающимся инженером-электриком Яном ван Хеузе – изобретателем примитивного прибора, позволяющего определить, говорит ли человек правду, – я услышал массу ободряющих слов, но за ними стояло подлое недоверие.

С тех пор я работал один.

Я занялся поисками еще не открытых волн и колебаний, созданием приборов, чтобы улавливать их и передавать. Сравнительно легко я нашел способ передачи запахов; гораздо труднее оказалось уловить и передать ощущения тепловые и осязательные в строгом смысле этого слова, тут потребовалась вся моя настойчивость.

Кроме того, надо было усовершенствовать уже существующие средства. Наилучших результатов, добились изготовители патефонных пластинок, это делает им честь. Давно можно утверждать, что голос наш не подвластен смерти. Зрительные образы сохраняются, хотя и весьма несовершенно, с помощью фотографии и кинематографа. Эту часть работы я направил на то, чтобы удерживать изображения, получаемые в зеркалах.

Человек, животное или предмет становятся для моих приборов как бы станцией, передающей концерт, который вы слышите по радио. Если вы включите приемник запахов, вы почувствуете аромат веточки жасмина, приколотой к груди Мадлен, хотя и не будете ее видеть. Запустив в действие спектр осязательных ощущений, вы сможете коснуться ее волос, мягких и невидимых, и научиться, подобно слепым, узнавать мир на ощупь. Но если вы включите всю систему приемников, перед вами предстанет Мадлен, ее образ, воспроизведенный полностью, целиком; вы не должны забывать, что речь идет об образах, извлеченных из зеркал, но к ним добавляются упругость, ощущаемая при касании, вкус, запах, температура – все это абсолютно синхронизировано. Ни один человек не признает, что это образ. И если сейчас мы увидим наши собственные изображения, вы сами мне не поверите. Скорее вы подумаете, что я нанял труппу актеров – невероятных, неправдоподобных двойников.

Это первая часть системы; вторая записывает, третья проецирует. Здесь не нужны экраны или бумага, эти проекции, если можно так сказать, принимаются всем пространством, и не важно, день на дворе или ночь. Чтобы вам стало яснее, я попробую сравнить части системы с телевизионным аппаратом, который показывает нам изображения, пересылаемые с более или менее удаленных передатчиков; с камерой, которая снимает на пленку изображения, переданные телевидением; с кинопроектором.

Я думал скоординировать прием изображений и заснять сцены из нашей жизни: вечер с Фаустиной, наши с вами беседы; так я мог бы составить альбом весьма долговечных и очень четких картин, приятное наследство нашим детям, друзьям и поколениям, которые будут жить иначе.

В сущности, я полагал, что если воспроизведениями предметов станут предметы (как, например, фотография дома – это предмет, представляющий другой

предмет), то воспроизведения животных и растений уже не будут животными и растениями. Я был уверен: созданные мною подобия людей не будут осознавать себя (как, скажем, персонажи кинофильма).

Но тут меня постигла неожиданность: после долгой работы, соединив гармонически все данные, я увидел воссозданные личности, они исчезали, если я рассоединял проектор, они жили лишь в прошлом, воспроизводя только отснятые сцены; когда эпизод кончался, он тут же повторялся снова – словно пластинка или фильм, которые, достигнув конца, опять запускаются с самого начала; но любой зритель не отличил бы этих людей от настоящих (кажется, будто они существуют в другом мире, куда заглянул человек из нашего). Если мы признаем, что люди, окружающие нас, обладают сознанием и всем тем, чем мы отличаемся от предметов, то не сможем отказать в этих свойствах существам, созданным моим аппаратом, тут не найдется никаких стоящих, значимых аргументов.

Когда все чувства собраны воедино, возникает душа. Надо лишь подождать. Ты видишь Мадлен, слышишь ее, можешь ощутить вкус ее кожи, ее запах, коснуться ее рукой, – значит, перед нами сама Мадлен».

Я уже говорил, что стиль Мореля неприятен, он употребляет много технических слов и тщетно прибегает к ораторским приемам. Вульгарность же целого говорит сама за себя.

«Вам трудно признать существование системы, искусственно, столь механическими способами воспроизводящей жизнь? Вспомните, что из-за несовершенства нашего зрения движения иллюзиониста кажутся нам волшебством.

Чтобы создавать живые изображения, мне нужны живые передатчики. Я не творю жизнь.

Разве нельзя называть жизнью то, что существует на пластинке, то, что возникает, если завести патефон, если повернуть ручку? Можно ли утверждать, будто жизнь всех – точно китайских марионеток – зависит от кнопок, которые нажимают неведомые существа? А сколько раз вы сами задавались мыслью о судьбах человеческих, возвращались к вечным вопросам: куда мы идем? где пребываем – словно пластинки, которые еще никто не слушал, – до тех пор, пока Бог не повелит нам родиться? Разве вы не ощущаете параллели между судьбами людей и изображений? Гипотеза о том, что у изображений есть душа, очевидно, подтверждается воздействием, которое оказывает моя машина на людей, животных и растения, служащие передатчиками. Конечно, к этим результатам я пришел лишь после многих частичных неудач. Помню, я делал первые опыты со служащими фирмы «Швахтер». Без предупреждения я включал приборы и снимал их за работой. Приемник был еще несовершенен: он не сочетал гармонично все данные, в иных случаях изображение, например, не совпадало с осязательными ощущениями; иногда ошибки незаметны для неспециалистов, в других случаях расхождения очень велики».

Стовер спросил Мореля:

– А ты мог бы показать нам эти первые изображения?

– Конечно, если вы попросите, но предупреждаю, среди них есть призраки чуть искаженные, – ответил Морель.

– Прекрасно, – сказала Дора. – Пусть он покажет. Никогда не мешает немного поразвлечься.

– Я хочу их видеть, – продолжал Стовер. – Помню, что в фирме «Швахтер» было несколько необъяснимых смертельных случаев.

– Поздравляю, – сказал Алек, отсалютовав. – Вот вам и первый верующий.

– Да ты что, не слышал, идиот? – сурово отозвался Стовер. – Чарли тоже сфотографировали. Когда Морель был в Санкт-Галлене, среди служащих «Швахтера» начался мор. Я видел снимки в газетах. И я узнаю этих людей.

Морель затрясся и, грозно нахмурившись, вышел из комнаты. Поднялся невероятный шум.

– Вот, пожалуйста! – крикнула Дора. – Ты его обидел. Сходите за ним.

– Как у тебя язык повернулся – сказать такое Морелю.

– Но вы ничего не поняли, – настаивал Стовер.

– Морель – человек нервный. Не знаю, зачем нужно было его оскорблять.

– Вы ничего не поняли, – в ярости закричал Стовер. – Своим аппаратом он снял Чарли, и Чарли мертв; снял служащих фирмы «Швахтер», и там стали загадочным образом умирать люди. Теперь он говорит, что снял нас!

– Но мы живы, – заметила Ирен.

– Себя он тоже снял.

– Да неужто никто не понимает, что это шутка?

– Сам гнев Мореля подтверждает мою правоту. Я никогда не видел, чтобы он сердился.

– И все же Морель поступил с нами нехорошо, – проговорил человек с торчащими зубами. – Он мог бы нас предупредить.

– Я пойду за ним, – сказал Стовер.

– Никуда ты не пойдешь! – крикнула Дора.

– Пойду я, – предложил человек с торчащими зубами. – Я не скажу ему ничего плохого, попрошу прощения от имени всех, пусть продолжит объяснения.

Все столпились вокруг Стовера. Сами взволнованные, они пытались его успокоить.

Вскоре посланец вернулся.

– Он не хочет. Просит его извинить. Я не смог его привести.

Фаустина, Дора и пожилая женщина вышли из комнаты.

Потом в зале остались лишь Алек, человек с торчащими зубами, Стовер и Ирен. Спокойные, серьезные, они, казалось, были заодно. Затем ушли и они.

Я слышал голоса в холле, на лестнице. Погасли огни, дом наполнился бледным светом утра. Я настороженно выжидал. Все было тихо, лампы не горели. Они спят? Или притаились, чтобы меня схватить? Я просидел в засаде уж не помню сколько, весь дрожа; потом решил выйти из убежища (думаю, чтобы услышать собственные шаги, убедиться, что кто-то еще жив); я сам не замечал, что делаю, – именно этого, наверное, и добивались мои предполагаемые преследователи.

Подойдя к столу, я спрятал бумаги в карман. Подумал со страхом, что в этой комнате нет окон, надо пройти через холл. Двигался я чрезвычайно медленно, дом казался мне нескончаемым. Я застыл в дверях холла. Наконец тихо, осторожно подошел к открытому окну, выпрыгнул и побежал. Спустившись вниз, в болото, я понял, что встревожен, и стал бранить себя: надо было сбежать в первый же день, не пытаться проникнуть в секреты этих людей.

Теперь, после объяснений Мореля, я был уверен, что все случившееся – происки полиции; непростительно было так долго этого не понимать. Пускай это и нелепо, но, конечно же, объяснимо. Кто бы безоговорочно поверил человеку, который заявляет: «Я и мои товарищи – призраки, мы лишь новый вид фотографии». В моем случае недоверчивость еще более объяснима: меня обвиняют в преступлении, я приговорен к пожизненному заключению, и вполне возможно, что кто-то все еще занят моей поимкой, сулящей ему повышение по службе.

Но я был очень утомлен и сразу же заснул, строя туманные планы бегства. Прошедший день оказался беспокойным.

Мне приснилась Фаустина. Сон был очень грустным и волнующим. Мы прощались – за ней пришли – она уплывала на пароходе. Потом мы опять оказывались наедине и прощались, как влюбленные. Я плакал во сне и проснулся, охваченный безмерным отчаянием – потому что Фаустины не было со мной – и все же какой-то скорбной радостью – потому что мы любили друг друга открыто, не таясь. Испугавшись, что Фаустина уехала, пока я спал, я быстро вскочил. Пароход уплыл. Печаль моя была беспредельна, я уже решился покончить с

собой, как вдруг, подняв глаза, увидел на верху холма Стовера, Дору, а потом и других.

Мне уже ни к чему видеть Фаустину. Я твердо понял: неважно, здесь она или нет.

Значит, все, сказанное Морелем несколько часов назад, – правда (но возможно, он сказал это впервые не несколько часов, а несколько лет назад; он повторял это, потому что речь его записана на вечную пластинку, входит в заснятую неделю).

Теперь эти люди и их непрерывные, повторяющиеся действия вызывали у меня неприязнь, почти отвращение.

Уже много раз появлялись они там, наверху, на холме. Какой невыносимый кошмар – жить на острове, населенном искусственно созданными привидениями; влюбиться в одно из этих изображений – еще хуже, чем влюбиться в призрак (пожалуй, нам всегда хочется, чтобы любимое существо отчасти было призраком).

Добавляю страницы (из стопки желтых листков), которые Морель не прочел:

> «Поскольку мой первый план: привести ее к себе и заснять сцену моего – или нашего – счастья был невыполним, я задумал другой, наверняка более удачный.
>
> Мы открыли этот остров при обстоятельствах, вам известных. Три условия были для меня особенно благоприятны. Первое – приливы. Второе – рифы. Третье – освещенность.
>
> Регулярность лунных приливов и обилие атмосферных гарантируют почти непрерывное действие системы, запускающей мою машину. Рифы – это естественные заграждения, воздвигнутые против непрошеных гостей, проход знает лишь один человек – наш капитан, Макгрегор, и я позаботился, чтобы больше он не подвергался таким опасностям. Яркое, но не слепящее освещение позволяет надеяться, что изображения получатся четкими, с минимальным, незаметным отклонением.
>
> Признаюсь вам, обнаружив столь замечательные свойства, я, не колеблясь, вложил все свои средства в покупку острова и в постройку музея, часовни, бассейна. Нанял грузовой пароход, который вы зовете яхтой, чтобы сделать нашу поездку еще более приятной.
>
> Слово «музей», которым я обозначаю этот дом, осталось с тех пор, когда я работал над проектами, не подозревая, к чему они приведут. Тогда я думал соорудить большие «альбомы», точнее, музеи, семейные и публичные, чтобы сохранять изображения. Пришло время объявить вам: этот остров, с его постройками, – наш общий маленький рай. Я принял меры предосторожности – материальные и моральные – ради его защиты, полагаю, они будут действенными. Здесь мы останемся навечно, пусть и уедем завтра, – и будем вновь и вновь проживать эту неделю, минуту за минутой, потому что такими сняли нас аппараты; наша жизнь навечно сохранит новизну, ведь в каждую секунду проекции у нас не будет иных воспоминаний, чем в соответствующую секунду съемки, и грядущее, столько раз отступавшее назад, навсегда (Навсегда – то есть на протяжении нашего бессмертия: машины, простые, сделанные из тщательно подобранных материалов, более долговечны, чем парижское метро.) останется неведомым».

Время от времени они появляются. Вчера на холме я видел Хейнса, два дня назад – Стовера и Ирен, сегодня – Дору и других женщин. Они мешают мне; если я хочу наладить свою жизнь, надо отрешиться от этих образов.

Уничтожить их, разрушить проецирующие аппараты (наверняка они находятся в подвале) или сломать вал – вот о чем я мечтаю чаще всего, но я удерживаю себя, я не желаю обращать внимание на своих товарищей по острову; они достаточно реальны, чтобы стать наваждением. Однако, полагаю, такая опасность мне не грозит. Я слишком занят своими заботами – как пережить приливы, утолить голод, приготовить еду.

Теперь я пытаюсь устроить себе постоянную постель; если я останусь внизу, это не получится: деревья – сплошная труха, они меня не выдержат. Но пора изменить свою жизнь, ведь большие приливы не дают мне спать, а в другие дни мелкие наводнения будят меня в самые разные часы. Не могу привыкнуть к этому купанию. Сначала я не засыпаю, думая о

той минуте, когда вода, грязная и тепловатая, накроет меня и я на миг захлебнусь. Мне хочется, чтобы приливы не застигали меня врасплох, но усталость побеждает, и вот уже вода, точно тяжелое жидкое масло, тихо вливается в гортань. В результате – непреходящее утомление, раздражительность, склонность опускать руки перед любым препятствием.

Я перечитал желтые листки. Нахожу, что делить средства преодоления отсутствия на временные и пространственные приводит к путанице. Может, следовало бы сказать: средства досягаемости и средства досягаемости и удержания. Радиотелефон, телевидение, телефон – это только средства досягаемости; кинематограф, фотография, патефон – архивы в полном смысле этого слова – это средства досягаемости и удержания.

Таким образом, все аппараты, направленные на преодоление отсутствия, – средства досягаемости (до того, как получить снимок или пластинку, надо сделать их, заснять, записать).

Так же нельзя исключать вероятность того, что всякое отсутствие, в конце концов, пространственное… Где-нибудь, там или сям, непременно пребывает образ, прикосновение, голос тех, кто ушел из мира живых (ничто не теряется…).

Значит, есть еще слабая надежда, и ради нее я должен спуститься в подвалы музея и разглядеть машины.

Я подумал о тех, кого уже нет в живых: когда-нибудь охотники за волновыми колебаниями снова восстановят их. Я размечтался: быть может, кое-что удастся и мне самому. Вдруг я изобрету систему для пространственного воссоздания умерших. Скажем, использовать аппарат Мореля, дополнив его устройством, которое не позволяло бы улавливать волны живых передатчиков (конечно, крупных…).

Кто знает, а вдруг зародыш бессмертия таится во всех душах, в разложившихся и живых. Но увы! – недавно умершие так же заплутаются в лесу магнитных волн, как и те, что умерли давно. Чтобы сложить уже несуществующего человека со всеми его элементами, не прихватив ни одного чужого, надо обладать преданностью и терпением Исиды[19], воссоздавшей Осириса.

Уже созданные образы будут появляться бесконечно долго, это гарантировано. Вернее, будет полностью гарантировано в тот день, когда люди поймут: дабы защитить свое место на земле, надо исповедовать мальтузианство и следовать ему на практике.

Прискорбно, что Морель спрятал свое изобретение на этом острове. Хотя возможно, я ошибаюсь, и Морель – знаменитая личность. Если же нет, то, сообщив об этом изобретении, я мог бы добиться награды – незаслуженного прощения. Но пускай даже Морель не обнародовал свои работы, – тогда это сделал кто-нибудь из его друзей. В любом случае странно, что никто не говорил о нем, когда я уезжал из Каракаса.

Я преодолел отвращение, которое чувствовал к призракам. Теперь они меня не беспокоят. Я удобно живу в музее, избавившись от приливов. Сплю хорошо, уже отдохнул и опять ощущаю спокойную уверенность, которая позволила мне уйти от преследователей и добраться до острова.

По правде говоря, когда призраки меня касаются, мне становится слегка не по себе (особенно если я отвлекся); это тоже пройдет, и сам факт, что я способен отвлекаться, доказывает: живу я вполне нормально.

Я привык смотреть на Фаустину без эмоций, как на простой предмет. Из любопытства уже дней двадцать я хожу за ней по пятам. Это нетрудно, несмотря на то, что открыть двери – даже не запертые на ключ – невозможно (если они были закрыты, когда снималась сцена, то должны быть закрыты и при проекции). Наверное, двери можно взломать, но я боюсь, что частичная поломка выведет из строя всю систему (хотя это маловероятно).

19 *Исида* – в древнеегипетской мифологии: богиня плодородия. Мифы об Исиде тесно переплетены с мифами о ее муже – Осирисе, боге умирающей и воскресающей природы. По одному из мифов, брат Осириса Сет, желая править вместо него, убил Осириса и разбросал части его тела по всему миру. Исида разыскала останки мужа и оживила его.

Фаустина, уходя к себе, закрывает дверь. В одном только случае я не могу войти, не касаясь призраков: когда Фаустину сопровождают Дора и Алек. Потом эти двое быстро исчезают. В первую неделю я остался в коридоре, у закрытой двери, подглядывая в замочную скважину, но там зияла пустота. На следующий раз я решил подсмотреть снаружи и с большим риском пробрался к окну, испуганно цепляясь за шершавые камни, обдирая руки и колени (до земли было метров пять). Но окно прикрыто шторами.

Теперь я переборю себя и войду в комнату вместе с Фаустиной, Дорой и Алеком.

Остальные ночи я провожу возле кровати Фаустины, на полу, на циновке, и умиляюсь, глядя на нее, такую спокойную, – она не подозревает, что мы спим вместе, а это становится привычкой.

Человек в одиночку не может делать машины и запечатлять образы, ему остается лишь весьма несовершенный способ описывать или рисовать их для других, более удачливых.

Ничего я не обнаружу, просто глядя на эти машины: неведомые, непонятные для меня, они работают, подчиняясь воле Мореля. Завтра я узнаю все наверняка. Сегодня я не мог спуститься в подвал: всю вторую половину дня я добывал себе еду.

Если когда-нибудь изображения исчезнут, не надо предполагать, будто я их уничтожил. Наоборот, с помощью своих записей я рассчитываю их спасти. Им грозит наступление моря и наступление людских полчищ – следствие прироста населения. Больно думать, что им грозит и мое невежество, сберегаемое всей библиотекой, – здесь нет ни одной книги, которая могла бы помочь в научной работе.

Не буду распространяться об опасностях, нависших над островом, над землей, надо всеми людьми, которые забыли о пророчествах Мальтуса; если же говорить о море, то при каждом высоком приливе я боюсь, как бы остров не залило полностью; в рыбацкой таверне, в Рабауле, я слышал, что острова Эллис, или Лагунные – непостоянны, одни исчезают, другие появляются (а я вправду на этом архипелаге? Могу ссылаться лишь на сицилийца и Омбрельери).

Странно – изобретение обмануло своего изобретателя. Я тоже считал, что изображения живые, но наше положение неодинаково: Морель все задумал, он присутствовал при создании своего детища, довел его до конца, а я встретился с аппаратом, когда он был уже готов и действовал.

Эта слепота изобретателя в отношении изобретения восхищает нас, ведет к переоценке критериев… Быть может, я обобщаю, говоря о безднах в душе человеческой, излишне морализую, осуждая Мореля.

Но я, несомненно, аплодирую его попытке – явно бессознательной – обессмертить человека; он ограничился тем, что сберег чувства и, даже ошибаясь, предсказал правду: человек возникает сам по себе. В этом я вижу справедливость моей старой аксиомы – не надо стараться сохранить живым весь организм.

Рассуждая логически, мы убеждаемся, что Морель не прав. Изображения не живут. И все же, мне кажется, имея этот аппарат, стоит изобрести другой, который позволит определить, думают ли, чувствуют ли эти фигуры (или, по крайней мере, есть ли у них мысли и чувства, с которыми они жили во время съемки; конечно, нельзя проверить соотношения с этими мыслями и чувствами их сознания). Аппарат, очень похожий на существующий, будет настроен на мысли и чувства датчика: на любом расстоянии от Фаустины мы узнаем, о чем она думает, что ощущает в плане визуальном, слуховом, осязательном, обонятельном, вкусовом.

А когда-нибудь создадут аппарат еще более совершенный. Все, что думалось и чувствовалось в жизни – или в минуты съемки, – станет как бы алфавитом, при помощи которого изображение будет продолжать все понимать (как мы, с помощью букв алфавита, можем понимать и составлять все слова). Таким образом, жизнь будет хранилищем смерти. Но даже и тогда изображение не оживет: оно не сможет воспринимать ничего существенно нового, оно будет знать лишь то, что думало и чувствовало, или последующие комбинации из пережитых мыслей и чувств.

Тот факт, что для нас нет ничего вне времени и пространства, заставляет предположить: наша жизнь не слишком отличается от посмертного существования, которое можно обрести с помощью этого аппарата.

Когда изобретением займутся умы менее примитивные – не то что Морель, – человек выберет приятное, уединенное место, приедет туда с теми, кого любит больше всех, и будет жить вечно в своем маленьком, отдельном раю. Один и тот же сад, если сцены будут сняты в различные моменты, вместит не один рай, а неисчислимое множество, и люди, населяющие их, будут перемещаться одновременно, не сталкиваясь, ничего не зная друг о друге, почти совпадая в пространстве. К несчастью, то будет легкоранимый рай, ибо образы не смогут видеть людей, а людям, если они не послушаются Мальтуса, когда-нибудь понадобится земля даже самого крошечного райского сада, и они уничтожат его безобидных обитателей или обрекут их на небытие, рассоединив бесполезные машины *(автор, прибегая к далеко не новым аргументам, рассыпается в многословных похвалах Томасу Роберту Мальтусу и его «Опыту закона о народонаселении» под эпиграфом: «Come, Malthus, and in Ciceronian prose show that a rutting population grows, until the product of the soil is spent and brats expire for the lack of aliment[20]». Мы опускаем эту часть из-за нехватки места.* ***(Примеч. издателя.)*** *)* .

Я следил в течение семнадцати дней. Никто, ни один влюбленный, не смог бы заподозрить в чем-то Мореля и Фаустину.

Не думаю, что Морель в своей речи имел в виду ее (хотя она была единственной, кто не смеялся). Но даже признав, что Морель влюблен в Фаустину, как можно утверждать, будто Фаустина тоже влюблена?

Если мы настроены не доверять кому-то, повод всегда найдется. Однажды вечером они гуляют под руку между рядом пальм и стеной музея – что странного в этой прогулке друзей?

Вознамерившись вести слежку под девизом «Ostinato rigore», я выполнил план с доскональностью, делающей мне честь: пренебрегая собственным удобством и приличиями, я придирчиво контролировал как движения их ног под столом, так и их лица, их взгляды.

Один раз вечером в столовой, другой раз в гостиной ноги их соприкасаются. Если признавать умысел, то почему отрицать рассеянность, случай?

Повторяю: ничто не доказывает, что Фаустина любит Мореля. Наверное, подозрения родились из моего эгоизма. Я люблю Фаустину, Фаустина – средоточие моей жизни, и я боюсь, что она влюблена; доказать это должен ход событий. Когда я опасался полицейских преследований, изображения на острове двигались, как шахматные фигуры, разыгрывая партию с тем, чтобы меня поймать.

Морель придет в ярость, если я обнародую его изобретение. Это несомненно, никакие восхваления ничего не изменят. Друзья Мореля сплотятся, движимые общим возмущением (включая Фаустину). Но если она рассердилась на него – ведь она не смеялась вместе со всеми во время речи, – то может стать моей союзницей.

Есть иная гипотеза: Морель умер. В этом случае про его изобретение уже рассказал кто-нибудь из друзей. Если нет, надо предположить коллективную смерть, чуму, кораблекрушение. Все это невероятно, но я по-прежнему не понимаю, отчего, когда я уезжал из Каракаса, об изобретении никто не знал. Можно объяснить и по-другому: Морелю не поверили, он безумец, или – так я думал поначалу – все они безумны, остров – санаторий для сумасшедших.

Эти гипотезы столь же проблематичны, как эпидемия или кораблекрушение.

Если я приеду в Европу, Америку или Японию, мне придется трудно. Едва я успею

20

Поведай, Мальтус, слогом Цицерона,
Что населенье размножаться склонно,
Пока вконец не оскудеет поле
И отпрысков не напитает боле.

пер. с англ. С. Сухарева

прославиться – скорее как шарлатан, чем как изобретатель, – до меня докатятся обвинения Мореля и, вполне вероятно, приказ об аресте из Каракаса. Самым печальным будет то, что в эти беды ввергнет меня изобретение безумца.

Но я должен убедить себя: бежать ни к чему. Жить среди этих образов – счастье. Когда сюда явятся преследователи, они забудут обо мне перед чудом этих недостижимых людей. Я остаюсь.

Если я встречу Фаустину, как она будет смеяться моим рассказам о том, сколько раз говорил я с ее образом, как рыдал перед ним, как был влюблен. Мысли о будущей встрече с ней превращаются в порок, записываю их, чтобы положить им предел, увидеть, что в них нет ничего привлекательного, забыть о них.

Повторяющаяся вечность может показаться страшной стороннему наблюдателю, но она удобна для тех, кто в ней заключен. Свободные от плохих известий и от болезней, они всегда живут словно впервые, не помня о прошлом. Кроме того, из-за режима приливов бывают перерывы, и повторение отнюдь не навязчиво.

Привыкнув видеть повторяющуюся жизнь, я нахожу свою безнадежно случайной. Тщетно пытаться что-то исправить: у меня нет следующего раза, каждый миг единственный, особый, многие теряются по недосмотру. Но для изображений тоже нет следующего раза (все они точно такие же, как первый).

Нашу жизнь можно рассматривать словно неделю, прожитую этими образами, которая повторяется в соседних мирах.

Не делая уступок собственной слабости, я все же представляю себе волнующее событие: мой приход в дом Фаустины, интерес, с каким она будет слушать мои рассказы, дружбу, которая потом обязательно возникнет между нами. Кто знает, может, на самом деле я иду долгой и трудной дорогой, ведущей меня к Фаустине, туда, где наконец я смогу отдохнуть.

Но где живет Фаустина? Я следил за ней в течение нескольких недель. Она говорит о Канаде. Больше мне ничего не известно. И есть еще один, страшный вопрос: жива ли Фаустина?

Наверное оттого, что сама мысль кажется мне поэтической и душераздирающей – искать человека, живущего неизвестно где, неизвестно, живущего ли вообще, – Фаустина для меня дороже всего на свете. Есть ли хоть какая-то возможность уехать отсюда? Лодка сгнила. Деревья гниют. Я не настолько искусен в плотницком деле, чтобы построить лодку из другого дерева (например, из стульев и дверей, я даже не уверен, что смог бы построить ее из стволов). Надо дождаться какого-то судна. Но этого бы мне не хотелось. Мое возвращение тогда уже не будет тайной. Живя здесь, я ни разу не видел судна, кроме парохода Мореля, а это не настоящий пароход, только изображение.

И потом, если я достигну цели, если найду Фаустину, то окажусь в неудобнейшем положении. Надо будет представиться, окружив себя тайной, просить, чтобы она приняла меня наедине, и уже это со стороны незнакомца вызовет недоверие; позже, услышав, что я был свидетелем ее жизни, она решит, будто я ищу какую-то бесчестную выгоду, а узнав, что я приговорен к пожизненному заключению, подумает – ее страхи подтверждаются.

Раньше мне не приходило в голову, что некое действие может принести удачу или неудачу. Теперь по ночам я повторяю имя Фаустины. Конечно, мне нравится его произносить, но я продолжаю твердить это имя, когда устаю, когда валюсь с ног (порой, засыпая, я чувствую головокружение, нездоровье).

Прежде всего надо успокоиться, тогда я найду способ выбраться отсюда. А пока, рассказывая, что со мной произошло, я привожу в порядок свои мысли. Если я должен умереть, эти страницы донесут весть о моей мучительной агонии.

Вчера образов не было. Машины отдыхали, и я в отчаянии страдал от предчувствия, что больше никогда не увижу Фаустину. Но утром вода начала подниматься. Я отправился в подвал до появления изображений. Мне хотелось понаблюдать за машинами, попытаться понять их работу (чтобы не зависеть от воли приливов и суметь исправить их, если что-то

откажет). Я надеялся, что, увидев, как машины приходят в действие, я разберусь в них или, по крайней мере, соображу, в каком направлении надо думать. Эта надежда не сбылась. Я проник через отверстие, пробитое мной в стене… Сейчас я слишком взволнован. Надо внимательнее строить фразы. Войдя в комнату, я испытал то же удивление и то же счастье, что в первый раз. Мне показалось, будто я окунулся в неподвижную голубую реку. Потом я сел и стал ждать, спиной к дыре (мне было больно видеть этот проем, обезобразивший гладкую поверхность небесно-голубого фарфора).

Так я просидел довольно долго в приятной рассеянности (сейчас трудно в это поверить). Потом зеленые машины заработали. Я сравнивал их с насосом, подающим воду, и электрическим мотором. Рассматривал машины, слушал их вблизи, ощупывал – и без всякого толку. Они сразу показались мне непроницаемыми, и потому я, быть может, отчасти притворялся перед собой, будто старательно изучаю их – словно выполняя обещанное или стыдясь кого-то, следящего за мной (из-за того, что я с такими надеждами пришел в подвал, что столько ждал этой минуты).

От усталости я снова поддался нахлынувшим чувствам. Надо овладеть собой. Успокоившись, я найду способ выйти.

Теперь расскажем подробно о том, что со мной произошло: я повернулся и, опустив глаза, пошел к выходу. Взглянул на стену – мне показалось, что я потерял ориентацию. Поискал взглядом проем. Его не было.

Я подумал, передо мной интересный оптический феномен, и отступил в сторону, чтобы изменить угол зрения. Протянул руки, как слепой. Ощупал стены. Подобрал с пола куски фарфора и кирпичей, оставшиеся с тех пор, когда я пробивал отверстие. Тронул стену там, где был проем, долго водил по ней рукой. Пришлось признать, что она восстановилась.

Неужели я был настолько зачарован небесной голубизной этой комнаты, таинственной работой моторов, что не услышал, как каменщик заделывает стену?

Я прижался к ее поверхности. Ощутил ухом свежесть фарфора, услышал непроницаемую тишину, словно с другой стороны не было ничего.

На полу, там, где я бросил его, войдя сюда впервые, лежал железный лом. «Хорошо еще, что его не заметили, – простодушно подумал я. – Иначе бы потихоньку унесли».

Я опять приложил ухо к стене. Она представлялась неприступной. Ободренный тишиной, я при– кинул, где было отверстие, и начал бить ломом (почему-то веря, что проломить стену легче там, где раствор свежий). Я стучал и стучал, страх мой усиливался. Изнутри фарфор был неуязвим. При самых сильных, самых отчаянных ударах он только звенел, но на поверхности не появлялось ни единой трещины, на пол не падало ни одного голубого осколка.

Я взял себя в руки и решил передохнуть.

Потом вновь набросился на стену, теперь в разных местах. На пол брызнули голубые крошки, потом откуда-то валились большие куски стены; я продолжал колотить, почти ничего не видя, слишком торопливо орудуя тяжелым ломом, но стена оставалась целой, несмотря на мои усилия и упорство; наконец я упал на пол, всхлипывая от изнеможения. Потрогал куски кирпича, гладкие с одной стороны, шероховатые, землистые – с другой; потом с какой-то необычайной зоркостью мои прояснившиеся глаза увидели ненарушенную голубизну фарфора, нетронутую сплошную стену, закрытую комнату.

Я опять взялся за лом. Там, где отскакивали куски стены, не оставалось ни единого отверстия, ни светлого, ни темного, стена восстанавливалась с быстротой, недоступной моему взору, и приобретала нерушимую твердость, становилась такой же, как на месте прежнего проема.

Я закричал: «Помогите!», снова раз-другой ударил по стене и без сил свалился на пол. Последовал глупейший припадок, я рыдал, ощущая на лице теплую жгучую влагу. Было так страшно убедиться, что я в заколдованном месте, понять, что волшебство совершается на глазах такого человека, как я, – неверящего, смертного, отрезанного от всех, – словно затем, чтобы отомстить за себя.

В плену этих ужасных голубых стен я поднял глаза вверх, к маленькому окошку. Там, наконец, был хоть какой-то разрыв. Я увидел, сначала ничего не понимая, а потом – похолодев от испуга, как кедровая ветвь раздваивалась, словно уходила в сторону от самой себя, а дальше оба побега опять совмещались, послушные, будто призраки, делаясь единой ветвью. «Мне не выйти отсюда. Это место зачаровано», – явственно подумал я или сказал вслух. Когда я сформулировал этот вывод, мне стало стыдно, точно симулянту, заведшему свою выдумку слишком далеко, и вдруг я понял все.

Эти стены – как Фаустина, Морель, рыбы из аквариума, одно из солнц и одна из лун, трактат Белидора – лишь проекции, бросаемые машинами. Они совпадают со стенами, которые выложили каменщики (это те же стены, снятые аппаратом, а затем спроецированные на самих себя). Там, где я сломал стену или отбил от нее куски, остается стена спроецированная. И пока действуют машины, нет силы, способной пройти сквозь эту проекцию или ее разбить.

Если я сломаю одну стену целиком, когда машины остановятся, комната окажется открытой, это будет уже не комната, а ниша; но когда машины начнут работать, стена восстановится вновь и будет непроницаемой.

Очевидно, Морель задумал это двойное ограждение, чтобы никто не смог коснуться машин, хранящих его бессмертие. Однако он не досконально изучил природу приливов (наверняка то был иной солнечный цикл) и верил, что система будет работать непрерывно. И он же пустил слух о пресловутой чуме, до сих пор надежно предохранявший остров от любопытных.

Моя задача – остановить зеленые моторы. Конечно, нетрудно будет найти место, где их рассоединить. За один день я научился пользоваться мотором, вырабатывающим свет, и насосом, подающим воду. Выйти отсюда легко.

Меня спасло окошечко – вернее, спасет, мне не суждено умереть от голода, не суждено, смирившись, преодолеть отчаяние и слать приветы тем, кого я оставляю на земле, – подобно японскому капитану с тонущей подводной лодки, добропорядочному, законопослушному чиновнику, который мучился в агонии на морском дне. В «Нуэво диарио» я прочел письмо, найденное на подводной лодке. Умерший приветствовал императора, министров и по иерархии всех морских начальников, которых успел перечислить, ожидая наступление удушья. Помимо того он описывал собственные ощущения: «Теперь у меня из носа пошла кровь; кажется, лопнули барабанные перепонки».

Я иду по стопам этого капитана, записывая с такими подробностями все свои действия. Надеюсь, я не повторю его конца.

Пережитые мною ужасы запечатлены в дневнике. Сегодня я много писал; думается, бесполезно искать неизбежные аналогии с умирающими, которые строят обширные планы на будущее или, идя ко дну, успевают увидеть в мельчайших деталях всю свою жизнь. Последний миг должен быть сумбурным, беспорядочным, мы всегда так далеки от него, что не можем представить себе мутящие его тени. Сейчас я брошу писать и спокойно посмотрю, как остановить моторы. Тогда проем откроется вновь, как по мановению волшебной палочки; если же нет, я (хотя и навсегда потеряю Фаустину) примусь колотить их ломом, как колотил стену, разобью их, отверстие мгновенно откроется, и я окажусь на воле.

Мне все еще не удалось остановить машины. У меня болит голова. Легкие нервные приступы, с которыми я быстро справляюсь, прогоняют наступающую сонливость.

У меня такое ощущение (несомненно, ошибочное), что, если бы мне удалось глотнуть немного свежего воздуха, я сразу же решил бы все проблемы. Я попытался разбить окно, но оно неприступно, как все, что меня окружает.

Твержу себе: главная трудность – не в сонливости, не в отсутствии воздуха. Эти моторы должны очень отличаться от остальных. Логично предположить, что Морель сконструировал их так, чтобы в них не разобрался первый же, кто приедет на остров. И все-таки трудность управления, очевидно, заключается в отличии от других. Поскольку я не разбираюсь ни в одном, эта главная трудность исчезает.

Вечность Мореля зависит от моторов; очевидно, они очень прочны, значит, лучше не пытаться их разбить. Я только устану и зря изведу воздух. Чтобы удержать себя от необдуманных действий, я пишу.

А если Морель сообразил заснять моторы…

В конце концов страх смерти избавил меня от ощущения собственной некомпетентности; мне словно вдруг дали увеличительное стекло; моторы перестали быть случайной глыбой металла, обрели формы и смысл, позволили понять их назначение. Я рассоединил машину и вышел наружу. В машинном отделении я смог опознать (кроме водяного насоса и генератора, уже упомянутых выше): а) группу передатчиков энергии, связанных с валом, который находится в нижней части острова; б) отдельную группу приемников, записывающих устройств и проекторов вместе с сетью аппаратов, расположенных так, чтобы охватить всю территорию острова; в) три портативных аппарата – приемники, записывающие устройства и проекторы – для съемки и проецирования отдельных объектов.

Еще я нашел – там, где, по моим предположениям, находился самый главный мотор, а на деле это был ящик с инструментами – неполные чертежи, задавшие мне дополнительную работу и предоставившие сомнительную помощь.

Озарение наступило не сразу. Перед тем я прошел через следующие этапы:

Первый – отчаяние.

Второй – раздвоение на актера и зрителя. Я сосредоточился на ощущениях подводника, задыхающегося в морских глубинах и, в то же время, как бы на сцене. Спокойный, сознавая свою стойкость и смущаясь собственного геройства, я потерял на этом этапе много времени; когда я вышел, было уже темно, и нельзя было искать съедобные растения. Прежде всего я запустил приемники и проекторы отдельных изображений. Я расположил перед аппаратом цветы, листья, мух, лягушек. И с волнением смотрел, как рядом с настоящими появляются их двойники.

Потом я совершил оплошность.

Я поднес к приемнику левую руку, включил проектор, и возникла рука, отдельная рука, лениво шевелящая пальцами – такая, какой я ее заснял.

Теперь она – еще один предмет, почти животное, существующее в музее.

Проектор работает, я его не выключаю, не избавляюсь от руки; вид ее не отталкивает, скорее забавляет. В фантастическом рассказе зловещая рука неотступно преследовала бы героя. А на деле – что в ней опасного?

Растительные передатчики – листья, цветы – погибли через пять-шесть часов; лягушки – через пятнадцать.

Копии продолжают жить, они не подвержены распаду.

Теперь я не знаю, какие мухи настоящие, а какие искусственные.

Цветы и листья, возможно, завяли без воды. Лягушек я не кормил, повлияла на них, наверное, и смена среды.

Что же касается руки, изменения, как я подозреваю, происходят от страхов, которые нагнал на меня аппарат, а не от него самого. Я ощущаю непрерывное, хотя и слабое жжение. Стала шелушиться кожа. Накануне я разволновался. Я чувствовал, что с рукой произойдет что-то ужасное.

Мне снилось, что я чешу ее, и она легко распадается. Скорее всего, я ее повредил.

Вынести еще один день – выше моих сил.

Прежде всего мне захотелось перечитать абзац из речи Мореля. Потом, развеселившись, я подумал, что сделал открытие. Не знаю, как это открытие превратилось в другое – остроумное и смертоносное.

Я не убью себя сразу. Уже стало привычным, что самые блестящие мои теории рассыпаются на следующий день, остаются доказательством странных комбинаций неумения и энтузиазма (или отчаяния). Быть может, если я запишу свою идею, она утратит смысл.

Вот фраза, удивившая меня:

«Вы должны простить мне эту сцену, поначалу скучную, затем страшную».

Почему страшную? Им предстояло услышать, что их фотографируют новым способом и без предупреждения. Конечно, неприятно узнать a posteriori[21], что восемь дней вашей жизни во всех их подробностях запечатлены навсегда.

В какой-то миг я подумал: «Один из этих людей скрывает роковую тайну; Морель постарается раскрыть секрет и рассказать о нем».

Случайно я припомнил, что в основе того ужаса, который испытывают иные народы перед фотографией или рисунком, лежит убеждение, будто душа человека переходит в его образ, и человек умирает. Меня рассмешила такая мысль: неужели Морель, сфотографировав друзей без их согласия, почувствовал угрызения совести; я подумал, что обнаружил в уме своего ученого современника пережитки древнего страха. Я вновь перечел фразу:

«Вы должны простить мне эту сцену, поначалу скучную, затем страшную. Мы забудем о ней».

Что означают последние слова? Что вскоре ей не будут придавать значения или что люди будут уже не в состоянии ее вспоминать?

Спор со Стовером оставляет гнетущее впечатление. У Стовера зародились те же подозрения, что и у меня. Не знаю, отчего я так долго этого не понимал.

Далее, гипотеза относительно того, что у изображений есть душа, явно требует, чтобы передатчики, когда их снимают, расставались со своей. Об этом заявляет сам Морель.

«Гипотеза о том, что у изображений есть душа, очевидно, доказывается тем воздействием, какое оказывает моя машина на людей, животных и растения».

Действительно, надо быть очень смелым и уверенным в себе, надо иметь совесть, граничащую с бессовестностью, чтобы заявить такое самим жертвам; но это чудовищное свойство не противоречит всему поведению человека, который, претворяя в жизнь свою идею, организует коллективную смерть и самостоятельно решает судьбы других.

Какова же эта идея? Собрать в одном месте почти всех друзей и создать маленький рай? Или какой-то неизвестный план, в который я не проник? Если он неизвестен, то, возможно, и не представляет для меня интереса.

Полагаю, что я смог бы теперь опознать мертвых мореплавателей, обнаруженных на пароходе, который затем потопит крейсер «Намура»: Морель использовал собственную смерть и смерть своих друзей, чтобы подтвердить слухи о болезни, гнездящейся на острове, слухи, уже распространенные Морелем для защиты своей машины, своего бессмертия.

Но если моя мысль справедлива, – значит, Фаустина мертва, значит, нет иной Фаустины, кроме этого образа, для которого я не существую.

В таком случае жизнь для меня невыносима. Как продолжать эту пытку: жить рядом с Фаустиной и знать, что она невероятно далека? Где мне ее найти? Фаустина растаяла, исчезли ее жесты, ее сны, таившие чужое прошлое, вне острова ее нет.

На первых страницах я сказал:

«Неприятно думать, что эти записи походят на завещание. Если иного не дано, надо постараться, чтобы мои утверждения можно было проверить; пусть никто, когда-либо заподозрив меня во лжи, не усомнится в главном: меня осудили несправедливо. Эпиграфом к этому документу я поставлю девиз Леонардо «Ostinato rigore» *(тот девиз не предваряет рукопись. Следует отнести упущение за счет забывчивости? Мы не знаем этого; как в*

21 Задним числом.

любом сомнительном случае, мы, рискуя быть раскритикованными, придерживаемся оригинала. ***(Примеч. издателя.)*** *)* и попытаюсь строго его придерживаться».

Я обречен на стенания и самоубийство и все же не забываю о клятве строго придерживаться правды. Сейчас я исправлю ошибки и объясню все, что не было членораздельно объяснено; таким образом, я приближу мое повествование к идеалу достоверности, который с самого начала освещал мне путь. Приливы. Я прочел книжечку Белидора[22]. Она начинается с общего описания приливов. Признаюсь, что приливы, наблюдаемые здесь, предпочитают следовать его объяснениям, а не моим домыслам. Надо принять во внимание, что я никогда не изучал приливы (быть может, лишь в школе, где никто ничего не изучал) и описал их в первых главах этого дневника, только когда они оказались важными для меня. Прежде, пока я жил на холме, они не представляли опасности и, хотя были интересны, не было времени спокойно понаблюдать за ними (опасность представляло почти все остальное).

Ежемесячно, в соответствии с объяснениями Белидора, случаются два прилива максимальной высоты, в новолуние и в полнолуние, и два прилива минимальной высоты – в дни лунных четвертей.

Иногда через семь дней после максимального прилива происходит атмосферный прилив (вызванный сильными ветрами и дождями); именно это привело меня к ошибочному выводу, что большие приливы бывают раз в неделю.

Непунктуальность ежедневных приливов. Согласно Белидору, приливы ежедневно начинаются на пятьдесят минут раньше, когда луна прибывает, и опаздывают на пятьдесят минут, когда луна убывает. На острове это происходит не совсем так: думаю, что опережение или отставание составляет примерно четверть часа или минут двадцать в день; привожу эти скромные наблюдения, сделанные без помощи измерительных приборов; быть может, ученые дополнят то, чего здесь не хватает, и смогут сделать какой-нибудь полезный вывод, чтобы лучше узнать мир, в котором мы живем.

В этом месяце было много больших приливов: два лунных, остальные – атмосферные.

Появления и исчезновения, первое и последующие. Машины проецируют изображения. Машины действуют благодаря приливам.

После более или менее долгого периода, когда приливы были незначительны, наступило время высоких приливов, доходивших до вала, который установлен внизу, у побережья. Машины пришли в движение, и вечная пластинка завертелась с той минуты, как замерла прежде.

Если речь Мореля была произнесена в последний вечер недели, первое появление людей, наверное, относится к вечеру третьего дня.

Очевидно, перед первым появлением изображений не было так долго потому, что режим приливов меняется в зависимости от солнечных циклов. Два солнца и две луны. Поскольку заснятая неделя повторяется на протяжении всего года, на небе светят эти не совпадающие два солнца и две луны (мы видим также, что обитатели острова дрожат от холода в жаркие дни, купаются в грязной воде, танцуют среди зарослей или в грозу). Если бы остров ушел под воду – за исключением тех мест, где находятся аппараты и проекторы, – изображения, музей, сам остров все равно оставались бы видимыми. Не знаю, чем вызвана столь чрезмерная жара последних недель – может быть, наложением температуры, которая существовала при съемке, на температуру теперешнюю *(Гипотеза наложения температур не представляется мне заведомо неправильной (в жаркий день нестерпим самый маленький нагреватель), но я считаю, что по-настоящему это объясняется другим. Стояла весна, а вечная неделя была заснята летом, и машины, работая, проецировали летнюю температуру.* ***(Примеч. издателя.)*** *)* .

Деревья и другие растения. Те, что были засняты, высохли, остальные – одногодичные

22 Бернар Форест де.

растения (цветы, травы) и молодые деревца – сочны и крепки.

Выключатель, который заело, дверные ручки, которые не нажимаются, неподвижные шторы. Примените к ручкам и выключателям то, что намного раньше я сказал о дверях: если они были заперты, когда сцена снималась, то должны быть заперты, когда сцена проецируется.

По этой же причине шторы нельзя пошевелить.

Человек, который гасит свет. Это Морель. Он входит в комнату против спальни Фаустины, останавливается на миг у постели. Читатель помнит, что в моем сне все это сделала Фаустина. Мне неприятно, что я спутал Фаустину с Морелем.

Чарли. Несовершенные призраки. Поначалу я их не находил. Теперь думаю, что обнаружил пластинки. Но я не ставлю их. Они могут расстроить меня, а это ни к чему в моем положении (будущем).

Испанцы, которых я видел в буфетной, – слуги Мореля.

Подземная камера. Зеркальная ширма. Я слышал, как Морель говорил, что они служат для экспериментов (оптических и акустических).

Французские стихи, которые декламировал Стовер:

Ame, te souvient-il, au fond du paradis,
de la gared'Auteuiletdes trains dejadis.[23]

Стовер говорит старухе, что это строки Верлена.

Теперь в моем дневнике не должно быть непонятных мест *(Остается наиболее невероятное: пространственное совпадение самого предмета и его трехмерного изображения. Этот факт позволяет предположить, что мир создан исключительно ощущениями.* ***(Примеч. издателя.)*** *)* . Исходя из сказанного, можно понять почти все. Остающиеся главы уже не вызовут удивления.

Пытаюсь объяснить себе поведение Мореля. Фаустина избегала его, тогда он задумал эту неделю, убил всех друзей, чтобы стать бессмертным вместе с Фаустиной. Так он возмещал отказ от реальных возможностей. Морель понял: другим смерть не повредит – в обмен на какой-то срок жизни, обещающей неизвестно что, он даст им бессмертие в обществе любимых друзей. Так же он распорядился и жизнью Фаустины.

Но мое возмущение настораживает меня: быть может, я приписываю Морелю собственные чудовищные намерения. Я влюблен в Фаустину, я способен убить других и себя, – это я чудовище. А если Морель в своей речи вовсе не имел в виду Фаустину, если он был влюблен в Ирен, в Дору, в старуху?..

Я возбужден и говорю глупости. Морель игнорировал этих якобы любимых им женщин. Он любил недосягаемую Фаустину. Поэтому он убил ее, убил себя вместе со всеми друзьями, поэтому изобрел бессмертие!

Красота Фаустины стоит безумств, почестей, преступлений. Я отрицал это из ревности или из самозащиты, чтобы не признавать за другим права на любовь.

Теперь я смотрю на поступок Мореля, как и должно, – с восхищением.

Моя жизнь ничуть не ужасна. Оставив беспокойные надежды отправиться на поиски Фаустины, я привыкаю к блаженной участи созерцать ее постоянно.

Вот моя судьба: жить, быть счастливейшим из смертных.

Но мое счастье, как и все человеческое, непрочно. Созерцание Фаустины может прерваться (хотя я не в состоянии вынести даже такой мысли): из-за разладки машин (я не сумею их починить); из-за какого-либо сомнения, которое, вдруг возникнув, может омрачить мою райскую жизнь (надо признать, что кое-какие жесты и разговоры Мореля и Фаустины

23

Душа, в своем раю блаженствуя средь роз,
ты вспомнишь и Отей, и перестук колес.

способны привести людей с менее твердым характером к ошибочным выводам); из-за собственной смерти.

Главное преимущество моего решения в том, что саму смерть я могу сделать необходимым условием и гарантией вечного созерцания Фаустины.

Я спасен от бесконечных минут, необходимых для того, чтобы подготовить свою смерть в мире без Фаустины; спасен от бесконечной смерти без Фаустины. Когда я почувствовал, что готов, я включил приемники синхронного действия. И записал семь дней. Роль свою я играл хорошо: непредубежденный зритель не подумает, что я втерся со стороны. Это естественный результат тщательной подготовки, двухнедельных исследований и репетиций. Я повторял без устали каждое движение. Изучил то, что говорит Фаустина, ее вопросы и ответы; часто я ловко вставляю какую-то фразу, и кажется, будто Фаустина отвечает мне. Я не всегда следую за ней; зная ее движения, я часто иду впереди. Надеюсь, что в целом мы производим впечатление неразлучных друзей, которые понимают друг друга без слов. Меня смущала надежда избавиться от изображения Мореля. Знаю, что это бесполезно. Однако, когда я пишу эти строки, я чувствую то же желание, то же смущение. Досаждала и зависимость изображений друг от друга (особенно Мореля и Фаустины). Теперь все иначе – я вступил в этот мир, и уже нельзя убрать образ Фаустины без того, чтобы не исчез мой собственный. Меня радует также, что я завишу – и это более странно, менее оправданно – от Хейнса, Доры, Алека, Стовера, Ирен и так далее (даже от самого Мореля!).

Я заменил пластинки: теперь машины будут вечно проецировать новую неделю.

В первые дни неприятное сознание того, что я играю роль, лишало меня естественности, затем я его победил, и если образ в дни показа – как я думаю – может мыслить и подвержен сменам настроений, наслаждение созерцать Фаустину будет той средой, где я буду жить вечно.

Старательно и неустанно я освобождал свой дух от забот и тревог. Я старался не задумываться над действиями Фаустины, забыть ненависть. Наградой мне – спокойная вечность, даже более: я смог ощутить течение недели.

В тот вечер, когда Фаустина, Дора и Алек входили в комнату, я героически сдержал себя. Не пробовал ничего уточнять. Теперь меня немного сердит, что я оставил этот пункт неясным. В вечности я не придаю ему значения.

Я почти не чувствую процесса умирания; все началось с левой руки, однако смерть весьма преуспела: жжение увеличивается так постепенно, так постоянно, что я его не замечаю.

Я теряю зрение. Ничего не чувствую на ощупь. Кожа сохнет, отваливается, ощущения смутны, болезненны, я стараюсь их избегать.

Стоя у зеркальной ширмы, вижу, что я лыс, безбород, без ногтей, розоватого цвета. Силы мои истощаются. Что же до боли, создается нелепое впечатление: мне кажется, будто она увеличивается, но я чувствую ее меньше.

Непрерывное слабое беспокойство по поводу отношений Мореля и Фаустины отвлекает меня от мыслей о собственной смерти – это эффект неожиданный и благотворный.

К несчастью, не все мои рассуждения столь полезны, во мне – лишь в воображении, тревожа меня – теплится надежда, что моя болезнь – результат сильного самовнушения; что машины не причиняют вреда; что Фаустина жива и вскоре я уеду отсюда, отправлюсь ее искать; что мы вместе будем смеяться над этим ложным кануном смерти; что мы приедем в Венесуэлу, в другую Венесуэлу, ибо, родина, сейчас ты для меня – это сеньоры из правительства, полиция во взятой напрокат форме, стреляющая без промаха, преследование на шоссе, ведущем в Ла-Гуайру, в туннелях, на бумажной фабрике в Маракае; и все же я тебя люблю и, умирая, многократно приветствую тебя: ты – это еще и времена журнала «Кохо илюстрадо», кучка людей (и я, мальчик, почтительный, ошеломленный), которые каждое утро с восьми до девяти слушали строфы Ордуньо, мы становились лучше от его стихов; и вот мы – пылкие члены литературного кружка – едем от Пантеона до кафе Роки Тарпеи в трамвае номер десять, открытом и дряхлом. Ты, родина, – это хлеб из маниоки, большой, как

щит, чистый, ароматный. Ты – это вода, которая заливает долину и стремительно увлекает за собой быков, лошадей, ягуаров. И ты, Элиса, среди индейцев в прачечной, в памяти все больше похожая на Фаустину; ты велела отвезти меня в Колумбию, и мы проехали через плоскогорье в самое холодное время; чтобы я не замерз, индейцы укрыли меня жаркими мохнатыми листьями ароматного кустарника – фрайлехона; и пока я смотрю на Фаустину, я не забуду тебя – а я еще думал, что тебя не люблю! Декларация независимости, которую нам читал в день 5 июля в овальном зале Капитолия величественный государственный муж – Валентин Гомес, а мы – Ордуньо и его ученики, – чтобы сбить с Гомеса спесь, не сводили восхищенных глаз с картины Тито Саласа «Генерал Боливар переходит границу Колумбии»; и все же признаюсь, что позже, когда оркестр играл

«Слава народу,
что сбросил гнет,
уважая законы,
добродетель и честь», –

мы не могли сдержать патриотического волнения, и сейчас я тоже не сдерживаю его.

Но моя железная воля непрерывно подавляет эти мысли, способные нарушить последний покой.

Я все еще вижу свое изображение рядом с Фаустиной. И забываю, что это результат моих стараний; посторонний зритель поверил бы, что мужчина и женщина одинаково влюблены друг в друга, нужны друг другу. Быть может, так кажется оттого, что я плохо вижу. Во всяком случае, меня утешает, что я умираю, добившись того, чего хотел.

Душа моя пока еще не перешла в изображение, иначе бы я умер и, наверное, перестал бы видеть Фаустину, чтобы остаться вместе с ней в сценах, которым не будет свидетелей.

Того, кто на основе этого сообщения изобретет машину, способную воссоздавать целое из разрозненных элементов, я попрошу вот о чем. Пусть он отыщет Фаустину и меня, пусть позволит мне проникнуть в небесный мир ее сознания. Это будет милосердный поступок.